



C·P·O·B·L·I·C·I·O·L·F·B·I·B·V·L·O·A·
 V·I·R·T·V·T·S·O·V·E·C·A·V·S·S·A·
 C·O·N·S·V·L·I·C·I·O·P·O·I·V·E·R·
 M·O·N·V·M·E·N·T·O·Q·V·O·
 E·I·V·S·I·N·F·E·R·R·E·N·T·V·P·

mostrano più in grande le Parti principali dell'antico Sepolcro di C. Publicio &c. A Bassamento composto di grossi Travertini, dal tempo, e dall'incendi corrotto, e guasto, sopra cui leggesi l'Iscrizione tale quale si trova al presente, scitloni
 Antichi, e in ispezie, quando dinanzi a quelle porte, si deveano delle Colonne, avuta però buona considerazione tanto al sito, quanto alla grandezza dell'Opera. Si veggono tuttora molti Edifizj antichi, ne quali ciò non fu praticato, e per tanto il farlo, e non
 alla linea del Pilastro, G. H Altro Spaccato, il quale dimostra la superficie a linea retta perpendicolare della Facciata tra i due Pilastri di mezzo; la qual superficie, quantunque diversa da quella delle Pareti verso gli angoli, non offre non offre diversità



ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ О РИМЕ

de copiare la Forma delle Lettere ancora. B Buo, o Finestra fatta ne tempi posteriori. C Parte angolare, nella quale non farlo, resta in arbitrio d'ognuno. D La Superficie di questa Parete, tropposta a Pilastri, (siccome ancora l'altra verso l'Opera resta insensibile, ed anzi grata agli occhi de' riguardanti. Osservasi di più la Rete de' Pilastri frontata non con la Rete



АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
О
РИМЕ

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ · ЗИНАИДА ВОЛКОНСКАЯ · КАРЛ БРЮЛЛОВ · НИКОЛАЙ СТАНКЕВИЧ · АЛЕКСАНДР ИВАНОВ · НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ · МИХАИЛ ПОГОДИН · ФЕДОР БУСЛАЕВ · ИВАН ТУРГЕНЕВ · СЕРГЕЙ УВАРОВ · АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН · НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ · ИВАН АКСАКОВ · БОРИС ЧИЧЕРИН · ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ · ПАВЕЛ МИЛЮКОВ · СЕРГЕЙ ФЛЕРОВ · МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН · ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ · МИХАИЛ ОСОРГИН · БОРИС ЗАЙЦЕВ · ПАВЕЛ МУРАТОВ · БОРИС ГРИФЦОВ · ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ · ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ ·



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

УДК 821.111.3
ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7
К21

Художник ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

К21 Кара-Мурза Алексей Алексеевич
Знаменитые русские о Риме. — М.: Издательство Ольги Морозовой,
2014. — 496 с.

“Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу, но зато уж на всю жизнь”, писал Николай Гоголь. Притяжение Рима испытали на себе многие русские писатели, поэты, художники, историки и политические деятели, считавшие “Вечный город” своей второй родиной. По мнению Алексея Кара-Мурзы ни одна европейская культура не притягивала русских так, как культура итальянская. В своей книге Алексей Кара-Мурза собрал воспоминания и интересные факты о пребывании в Риме Ореста Кипренского, Зинаиды Волконской, Карла Брюллова, Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Бориса Зайцева, Павла Муратова, а также Николая Станкевича, Ивана Аксакова, Павла Милюкова и Владимира Высоцкого. Эта книга сродни путеводителю, в число составителей которого вошли самые замечательные люди XIX-XX столетий.

УДК 821.111.3
ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7
ISBN 978-5-98695-069-3

© Издательство Ольги Морозовой, 2014
© А. Кара-Мурза, 2014
© Д. Черногаев, оформление, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Русский Рим. В поисках разгадки Вечного города 9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ В РИМЕ

Орест Адамович Кипренский	35
Зинаида Александровна Волконская.	49
Карл Павлович Брюллов	62
Николай Владимирович Станкевич	84
Александр Андреевич Иванов	93
Николай Васильевич Гоголь.	110
Михаил Петрович Погодин	159
Федор Иванович Буслаев	172
Иван Сергеевич Тургенев.	189
Сергей Семенович Уваров.	200
Александр Иванович Герцен	203
Николай Алексеевич Некрасов	212
Иван Сергеевич Аксаков.	222
Борис Николаевич Чичерин	228

Петр Ильич Чайковский	238
Павел Николаевич Милоков	247
Сергей Васильевич Флеров	256
Максимилиан Александрович Волошин	261
Вячеслав Иванович Иванов	273
Михаил Андреевич Осоргин	311
Борис Константинович Зайцев	329
Павел Павлович Муратов	341
Борис Александрович Грифцов	357
Владимир Васильевич Вейдле	359
Владимир Семенович Высоцкий	364

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РУССКИЕ О РИМЕ

375
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РИМОМ
Гоголь, Погодин, Буслаев, Герцен, Аксаков, Волошин, Грифцов, Зайцев
387
“ЧУВСТВО РИМА”
Гоголь, Погодин, Уваров, Герцен, Тургенев, Муратов, Грифцов, Осоргин, Зайцев, Вейдле

418	
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ	
Гоголь, Буслаев, Чайковский, Осоргин, Вейдле	
429	
ФОРУМ VERSUS ПАЛАТИН	
Грифцов, Зайцев	
439	
РИМСКАЯ КАМПАНИЯ	
Герцен, Муратов	
447	
РИМСКИЕ КАРНАВАЛЫ	
Гоголь, Чайковский, Флеров, Осоргин	
467	
РИМ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ	
Флеров, Муратов, Грифцов, Осоргин, Вейдле	
488	
ПРОЩАНИЕ С РИМОМ	
<i>Уваров, Муратов, Осоргин</i>	
Об авторе	495

РУССКИЙ РИМ.
В ПОИСКАХ
РАЗГАДКИ
ВЕЧНОГО ГОРОДА

9

В конце прошлого века русский писатель П. Д. Боборыкин задумал книгу, в которой попытался изложить, как он выразился, “собирательную римскую психику” своих соотечественников, некое “общерусское чувство Рима”. Боборыкин и сам многократно бывал в Риме, общался со знающими людьми — А. Ивановым, И. Тургеневым, Н. Некрасовым, А. Фетом, П. Ковалевским — и, обобщая свои и чужие ощущения, написал-таки книжку, которая вышла в Москве в 1903 г., — “Вечный город. Итоги пережитого”. Результат, увы, разочаровал современников: обобщенного русского чувства Рима сформулировать не удалось. Некоторые критики объясняли эту неудачу “устойчивой неталантливостью” самого автора. В самом деле, в издании, задуманном как книга о “собирательной русскости”, оказалось слишком много... самого Боборыкина.

Не снисходя до цитирования своих источников, автор представил уже готовый, как ему казалось, результат обобщения искомого “русского чувства Рима”, предложив читателю поверить ему — Боборькину — на слово. Недоброжелатели говорили, что получилось прямо по Гоголю — первейшему “русскому римлянину”, — “ни се, ни то, а черт знает что”...

Оставим, однако, в стороне литературные способности нашего предшественника. Изначальная ошибка его замысла состояла в другом: “чувство Рима” вообще не поддается усреднению — ни русское, ни любое другое. Возможно ли вывести, к примеру, “собирательную римскую психику французов”, приведя к общему знаменателю впечатления Монтеня, де Бросса, Шатобриана, Стендаля и Золя?

Наша книга “Знаменитые русские о Риме” построена принципиально иным образом: двадцать знаменитых русских людей, в жизни каждого из которых Вечный город сыграл свою неповторимую роль, говорят каждый от своего имени. При этом добрую половину книги занимают биографические очерки, ибо вне “человеческого контекста” любые цитаты теряют смысл. Задача между тем остается все той же — понять феномен “русского Рима”. Но если в нашей книге порой и появляются некоторые совпадения, то это итоговый результат диалогов, несогласий; бывает, что и синхронных прозрений или, как еще говорят, “конгениальности”, но никогда не усреднения.

I

Отношение к Риму проявляется уже во время подготовки к поездке. Для многих русских это чувство “пилигрима”, ощущение не праздного путешествия, а серьезного действия, гораздо более ответственного, чем, скажем, поездка в признанную европейскую столицу — Париж. Сергей Уваров попал в Рим в пятидесятилетнем возрасте, будучи уже министром народного просвещения и президентом Российской Академии наук. Свое посещение Рима он полагал большим для себя почетом и очень верил, что, как “человек мыслящий и чувствительный, человек, приготовленный занятиями и вкусом к этому возвышенному зрелищу”, он может надеяться на то, чтобы “породниться с Римом”.

Здесь в нашем изложении возникает первый в длинной череде парадоксов на тему “русского Рима”: чем больше человек знает о Вечном городе, тем более значимой и ответственной становится первая очная встреча. Поэт и философ Вячеслав Иванов, долго проучившийся в Берлинском университете у такого знатока Рима, как Теодор Моммзен, сам ставший специалистом по римской истории и праву, все откладывал и откладывал встречу с Вечным городом, чувствуя недостаточную свою готовность. Предпочитая работать над римской темой где угодно, только не в самом Риме, он впоследствии признавался, что в молодости испытывал “благо-



говейный ужас” — даже не перед тем, что было известно о Риме, а перед тем, “что должно было там открыться”. Не столько величие Рима гипнотизировало В. Иванова, сколько его бездны, или, иначе говоря, ощущаемая им — именно как специалистом — степень непознанности и непознаваемости Вечного города.

II

Во многом совпадают и самые первые впечатления русских от Рима. Со временем стало широко известным высказывание Гоголя о его первом приезде в Вечный город весной 1837 г.: “Когда въехал в Рим, он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше...” Приехавший в Рим в 1847 г. Герцен не мог быть тогда знаком с частной перепиской Гоголя 30-х годов — она была издана позднее. Но герценовские ощущения поразительно схожи: “Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и другие стороны римской жизни вырезаются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее...”

Здесь, кстати, еще один парадокс. В середине прошлого века Гоголь, Погодин, Герцен называли “мелкой стороной” Рима его “узкие старые улицы”, “пустые грязные лавки” и т. п. в том же роде. В начале XX века антитезой римскому величию у Зайцева, Муратова или Вяч. Ива-

На предыдущем развороте: Вид на собор Св. Петра с террасы виллы Дориа-Памфили (фото конца XIX в.).

нова выступают уже, напротив, крикливые вывески магазинов, безликие новейшие здания, аляповатые, хотя с претензией на монументальность, “новоделы” вроде Национального Памятника на площади Венеции. Еще позднее в качестве бездарно-примитивной стилизации под “римское величие” будет опознан итальянский фашизм... Однако сама антитеза “вечного” и “суетного” в русских размышлениях о Риме останется...

III

Итак, Гоголь, Батюшков, Уваров, Погодин, И. Тургенев, а в следующем веке Зайцев, Муратов, Вяч. Иванов, Вейдле, каждый по-своему, приходят в итоге к одной мысли: величие Рима — в его “бесконечности”. В отличие от других городов, которые, по определению Вяземского, похожи лишь на блестящие драмы, чье действие совершается шумно, но быстро, Рим — это нескончаемая книга-эпопея: “Я читаю ее, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно” (Гоголь); “Рим похож на иероглифы, которыми исписаны его обелиски. Можно угадать нечто, всего не прочитаешь” (Батюшков); “Как творение очень глубокое, с таинственным оттенком, Рим не сразу дает прочесть себя пришельцу” (Зайцев).

Однако, варьируя в своих размышлениях о Риме классическую для общеевропейского сознания тему Вечного города, русский ум, как представляется, пошел

во многом дальше представлений других европейцев. Не удовлетворяясь меланхолическими переложениями Шатобриана о том, что постоянные римские напоминания о кладбище заставляют предположить, что “сама смерть, похоже, родилась именно здесь” (впрочем, в банальных русских путевых очерках эта тема также доминирует), отечественная мысль поднялась до еще одного удивительного парадокса, сформулированного в завершенной форме искусствоведом и литератором Павлом Муратовым. “Да, все, на чем останавливается в Риме взор, — гробницы, — соглашается Муратов. — Но так долго обитала здесь смерть, что этот старейший и царственнейший из ее домов стал, наконец, самим *домом бессмертия* (выделено мной. — А. К.)”.

IV

Что же конкретно придает ореол вечности Вечному городу? Уваров и Герцен полагали, что разгадка — в бессмертии античного наследия. “Вечный Рим — тут”, — убежден Герцен, всматриваясь в руины Колизея, Форума, Палатина. Да, размышляет он, древний мир пал, как могучий гладиатор, но время не смогло сокрушить его останков, и они, ушедшие в землю, заросшие мхом и плющом, — “величественнее и благороднее всех храмов Браманте и Бернини”. Что же касается христианского Рима, формально наследовавшего античности, то, если

следовать Герцену, это — не более чем “благочестивое безвкусие”.

Владимир Вейдле, профессиональный искусствовед и культуролог, придерживается радикально иного мнения: в Вечном городе первенствует не античность, а “священное сосредоточие католического мира”. Но не раннее христианство и даже не Возрождение наложили на Рим наиболее неизгладимую печать, а как раз “те полтора века, что отделяют первые архитектурные опыты Микеланджело от последних построек Борромини и Бернини” (прямая полемика с Герценом!). По мнению Вейдле, Вечный город легче себе представить вообще без античных развалин, чем без Тритона на пьядца Барберини, без Испанской лестницы, без купола Святого Петра и даже без симпатичного слона, который тащит на себе обелиск на площади Минервы. Разгадка бессмертия Вечного города, по Вейдле, — в римском барокко, одной из самых целостных и насыщенных жизнью художественных систем, какие только знает история искусства. И хотя — да! — эта система проистекает из необыкновенно могущественного чувства смерти (“подстерегающей, пронзающей, изнутри просвечивающей жизнь”), но любовь к жизни этим не только не умалена, но, согласно Вейдле, напротив, “доведена до исступления”: “Отсюда и повышенная праздничность и щедрость замыслов, и сосредоточенная телесность всякой формы... Религия отчаяния и надежды, не уверенность, а страстная жажда воскресения во плоти, создала эту

трагически потрясенную архитектуру, это изнутри надтреснутое великолепие, этот в Риме рожденный строй искусства и самой жизни...”

18

Здесь, казалось бы, напрашивается вопрос: кто же все-таки прав в этом споре — Герцен, Вейдле или, может быть, кто-то еще, делающий акцент на значении раннехристианского или возрожденческого Рима? Отставим, однако, эту, как представляется, малоплодотворную постановку вопроса. Рим тем и велик, что в нем оказывается возможным и органичным диалог сразу нескольких эпох и культур, каждая из которых по-своему взыскует Вечности и претендует на Вечность. А потому — вечен сам римский межкультурный диалог о Вечности. Это угадал, например, философ Федор Степун, который, пытаясь проникнуть в тайну римского “ренессанса” поэтического дара уже немолодого Вячеслава Иванова, нашел разгадку именно “в изначальной раздвоенности души поэта между Римом Колизея и Римом купола Святого Петра”.

V

...Владимир Ульянов-Ленин по пути на Капри 22 апреля 1908 г. (то есть в день своего тридцативосьмилетия) оказался всего на пять часов в Риме, до отхода поезда на Неаполь. Выйдя с вокзала, он сделал круг по Риму, чтобы потом снова вернуться на площадь Термини: поглядел на Вечный город с Монте Пинчио, осмотрел Капитолий

и Форум. Можно с большой долей вероятности высчитать даже его примерный римский маршрут. Например, предположить, что, идя от Термини к Монте Пинчио, он не мог пройти мимо дома любимого им Гоголя на Via Sistina (мемориальная доска уже несколько лет как висела) — того самого Гоголя, которого Ленин искренне считал союзником в борьбе с “русскими мерзостями”. Гораздо труднее догадаться, о чем думал этот тридцативосьмилетний, засидевшийся в эмиграции русский революционер...

19

Но одно можно сказать почти наверняка — Ульянов так или иначе думал о Вечности. Вообще, популярное сравнение русских большевиков с варварами или подростками, нашкодившими в истории, поверхностно и неумно. Поразительно точно написал однажды о большевиках Федор Степун: “Пусть они только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками, естественно, отрицаемая, связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевистских кощунствах и поношениях...”

Может быть, именно эта тоска по вечному заставила таких искренних почитателей и знатоков Италии, как неразлучные в жизни Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, увлечься в свое время Муссолини и даже пользоваться покровительством и поддержкой дуче. Справедливости ради надо сказать, что другие русские

послереволюционные эмигранты — Осоргин, Степун, Зайцев, будучи предельно чуткими на всякую идеократическую фальшь и получив достаточную прививку в коммунистической России, — и в фашистской Италии все поняли довольно быстро. Поняли они, в частности, то, что мистика соединения фашизма с Вечным Римом и его символами — наркотик, с помощью которого одурманить целую нацию оказалось даже проще, чем русско-большевистской идеей “прорыва в светлое будущее”. Да, фашистский миф имперского возрождения выглядел несколько более естественным, чем, к примеру, более поздний арийский расизм Гитлера, — возможно, поэтому итальянский вариант был относительно менее репрессивен. Но наиболее пронизательные русские наблюдатели сразу почувствовали стилистический диссонанс между “потугами на вечность” итальянских фашистов и действительно Вечным городом. “Это тоже товарищи — только наоборот”, — сделал в Риме прерзительно-беспощадный вывод недавно покинувший обольшевиченную Россию Борис Зайцев.

VI

Рим, как воплощенное торжество “свершения” над “суетностью” — идеальное место для творчества. Лет двести тому назад это стало общеевропейской аксиомой, превратившей Рим в интернациональную столицу ху-

дожников и литераторов. Петр Анненков в своем эссе о Николае Станкевиче (этот философ-поэт очень молодым умер в Италии, и сентиментальные англичане называют его “русским Китсом”) писал, что “в развитии каждой серьезной мысли есть минуты, когда она требует некоторого молчания и некоторой степени уединения, под прикрытием которых и созревает окончательно”, и констатировал, что в XIX столетии “во всей Европе не было города способнее Рима собрать все нравственные силы человека в один центр и, так сказать, в одну массу”.

Русские в числе первых европейцев попали в орбиту “римского притяжения” — и к гоголевским временам русское культурное “паломничество” в Рим уже стало устойчивой традицией. В ноябре 1836 г. Гоголь пишет известное письмо Погодину, где он решает на творческое подвижничество. Тогда эти слова могли показаться позерством, если бы не вся последующая жизнь писателя: “Я вижу только грозное и правдивое потомство, преследующее меня неотразимым вопросом: “Где же то дело, по которому бы можно было судить о тебе?” И чтобы приготовить ответ ему, я готов осудить себя на всё, на нищую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерываемое уединение...” Париж, где жил тогда Гоголь, не устраивает писателя: “Здесьняя сфера совершенно политическая (Гоголь приводит образный пример: “пойдешь в нужник — тебе суют журнал”)... Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая, непорочная

душа умеет только беседовать с Богом...” И Гоголь сознательно и надолго выбирает Рим.

Однако встреча творческого человека с Вечным городом была обоюдоострой. Величие Рима могло возвысить, но могло и, напротив, унизив, опрокинуть. Поэт и дипломат Константин Батюшков, побывав в Риме, печально заметил: “Я всегда чувствовал свое невежество, всегда имел внутреннее сознание моих малых способностей, дурного воспитания, слабых познаний, но здесь ужаснулся”. Кто знает, какую роль сыграл Вечный город в дальнейшей трагической судьбе помешавшегося Батюшкова?

Вот и родные Александра Иванова, получая от него первые письма из Рима, всерьез забеспокоились о его психическом здоровье, и, как оказалось, не напрасно: молодой художник в самом деле чуть не сошел с ума от ощущения своей ничтожности перед величием великих.

Приехав первый раз в Рим, Николай Некрасов воскликнул: “Зачем я не попал сюда здоровей и моложе?!” И под этим впечатлением — цитирую — “забрался на купол Св. Петра да и плюнул оттуда на свет Божий”. Его приятель Герцен потом сравнит Некрасова в Риме со “щуккой в опере”. А другой приятель, Иван Тургенев, добавит: “Плохо умному человеку, уже несколько отжившему, но нисколько не образованному, хотя и развитому, плохо ему в чужой земле, среди незнакомых и неизвестных явлений! Он чувствует смутно их значение, и тем больше разбирает его досада и горечь не бессилия, а невозвратного потерянного времени”.



Площадь Термини. Здание Центрального вокзала
(фото конца XIX в.).

Вечный город с его малярными лихорадками и божественными соблазнами мог и испепелить — многие русские художники и скульпторы в Риме сгорели трагически рано. Вот только краткий мартиролог “русского художественного Рима”: М. Марков умер в 36 лет, М. Томаринский — в 28, В. Штернберг — в 27, К. Климченко — в 36, П. Ставассер — в 33, К. Григорович — в 31, И. Панфилов — в 34.

Впрочем, Рим демократичен и давал каждому свой шанс. Великий Гоголь ведь тоже начинал не бог весть как.

Почитайте его, пока заочное, объяснение в любви Италии в опубликованном (!) стихотворении 1829 г.:

*Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует...*
и т.д. и т.п.

24

Однако Рим, будучи предельно великодушным (вспомним того же Гоголя: “Хотите — рисуйте, хотите — глядите... не хотите ни того ни другого — воздух сам лезет вам в рот”), никому не дает никаких творческих гарантий. Уже известный нам Петр Боборыкин специально приезжал в Вечный город, чтобы писать очередной роман: снимал номера в исторических отелях, где творил до него кто-то из великих, — “Минерва”, “Европа” на Испанской площади или “Эден” в квартале Людовизи — увы, его многочисленные романы (часть из них аналогичным способом писалась во Флоренции) прочно забыты. Кто сейчас помнит эти названия, когда-то бывшие в России на слуху: “Сладкие добродетели”, “Полжизни” или “Доктор Цыбулька”?..

Но все-таки можно ли дотянуться до великих? Поэт-эмигрант Юрий Иваск написал в 1970 г. в Риме такие строки:

*Опять я бреду по Систине, где Гоголь,
И Китс, умирая мучительно долго,*

*Глядит из чахотки на свой окоем:
На ближний, облезлый, оранжевый дом.
Куда мне! А все же еще я не кончен
И с робостью кланяюсь издалека,
В беседке-кофейне мурлычу, качаясь,
И вижу — протягивается рука...*

25

Как поэт, Иваск, скорее всего, не попадает в “высшую лигу”, но к “первой лиге” принадлежит наверняка. И подчеркнутая зыбкость его стихотворного изложения (автор сам акцентирует: “мурлычу, качаясь”) очень точно описывает зыбкость самого римского “эфира”, способного и одурманить, и творчески зарядить художника.

VII

Трудно назвать какой-нибудь другой город в мире, который бы, как Рим, вызывал у русских такое теплое чувство любви и сопричастности. Вот воспоминания современников о друге семьи Вячеслава Иванова — Ольге Шор, которая всю жизнь оставалась страстной поклонницей гения Микеланджело. Еще в детстве горничная вынуждена была выслушивать бесконечные и малопривлекательные рассказы о каком-то “Мишеньке”... Позднее тема Микеланджело у О. Шор, серьезно занимавшейся филологией в германских университетах, органично вошла в ее общие размышления о природе творчества. Как-то

в Риме ей посчастливилось пожить в комнате с видом на микеланджеловский купол Св. Петра, и каждое утро, только проснувшись, она вскакивала с постели, подходила к окну и с нежностью говорила: “Здравствуй, Мишенька...” Искренняя привязанность к Вечному городу (О. Шор скончалась и похоронена в Риме), однако, не помешала ей оставаться до конца жизни глубоко верующим православным человеком.

А вот римские ощущения другой русской — писательницы и мемуаристки Евгении Герцык из ее эссе “Мой Рим”: “На Форуме сенокос. Груды свежескошенной травы посреди обломков колонн, увитых кистями глициний — уже бледных от майского, от горячего солнца... Наклонясь над пахучей травой, я выбирала из нее цветы, уже вянувшие: кашку, смятые маки, бледные колокольчики. Увила ими полустершийся барельеф — мальчика, дудевшего в дуду. Огляделась вокруг, вдруг обессилев перед обнявшей меня красотой. Сенокос на Форуме! И плакала потерянно и сладко, прикладывала к глазам сохнущую траву. Я? Не я? Нет меня!”

Что это — русская, к тому же женская сентиментальность? Почти наверняка нет, ибо я специально выбрал примеры отношения к Риму двух европейски образованных русских женщин, которые, по воспоминаниям современников, обладали весьма жестким, скорее “мужским” характером.

Михаил Осоргин любил писать свои корреспонденции и новеллы на Форуме (особенно весной, когда “там

всюду — глицинии и красные маки”), сидя на камне в “домике Цезаря” под молодыми дубами. Приехав однажды в Рим после долгой разлуки, он нашел на своем любимом месте лишь шесть спиленных пней: “Еще — утрата! Кому помешали дубы? Кто осмелился спилить их? Погибла краса и уют дома Цезаря! И только красные розы и бассейны дома весталок помогают утешиться в новой невознагражденной потере”. Все это написано человеком, к тому времени трижды избежавшим в России смертной казни... А вот пример тоже совсем несентиментального Макса Волошина, у которого до конца дней между страницами потертого дневника сохранялась юношеская память о Риме: веточка лавра с могил Шелли и Китса на кладбище Тестаццо, кипарисовая кисть с виллы Адриана и какое-то неизвестное растение с очень тонкими резными листочками, которым был обвит старый фонтан на вилле д’Эсте... — Нет, это все примеры неподдельного чувства, и в этом общерусском контексте не такими уж чужаками выглядят отдельные русские римляне, как, например, художник Риццони, который, возвращаясь из России в Рим, всякий раз опускался на колени и целовал порог своей мастерской...

VIII

Русский Рим — это еще и русский характер, и русский размах в Риме. И это касается не только традиционных

примеров “купецкого разгула”, но и частных эпизодов из жизни таких, чаще всего рисуемых угрюмыми и нелюдимыми, персонажей, как, например, наш великий Гоголь. В конце жизни он сам как-то признался А. Смирновой, что не может без содрогания вспоминать, как однажды в Риме он, молодой, вместе с Жуковским, рискнул обойти на огромной высоте еще не забранный тогда решеткой внутренний карниз под самым куполом собора Св. Петра...

А вот еще один, рассказанный уже Анненковым, гоголевский эпизод, как тот однажды, после удачной утренней работы над “Мертвыми душами”, веселый и возбужденный, предложил пойти прогуляться в сады Людовизи: “Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком в воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял обломленную часть и продолжал песню”.

Вообще, русская песня в Риме — это отдельная тема, кочующая по мемуарной литературе. Историк Михаил Погодин вспоминал, как они вместе с тем же Гоголем, Александром Ивановым и целой толпой других русских художников вышли после православного пасхального богослужения в церкви русского посольства на Форум Траяна и хором запели... Через много лет, перед миро-

вой войной, последние дореволюционные русские экскурсанты в Риме, во главе с местным “старожилом” писателем Михаилом Осоргиным, во все горло распевали в ночном Колизее “Вниз по матушке по Волге”...

IX

В русской привязанности к Риму есть не только понятная жажда знания и творчества, но и классическое русское чувство “жизни над бездной” и “удержания на краю”. Гоголь как-то написал: “Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию”. И опять поразительно конгениален ему (с разницей в десять лет) — Герцен: “Когда мучительное сомнение в жизни точит сердце, когда перестанешь верить, чтоб люди могли быть годны на что-либо путное, когда самому становится противно и совестно жить, — я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится и снова что-нибудь благословит в жизни”.

Отсюда таким понятным и естественным выглядит стремление многих великих (равно как и невеликих) русских навечно остаться связанными с Римом — хотя бы узами смерти. “Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству”, — повторял Гоголь. А Карл Брюллов в набросках своей последней картины “Диана на крыльях Ночи” даже отме-

тил место на римском кладбище Тестаччо, где хотел бы быть похороненным, — его завещание было исполнено. Михаил Осоргин, гуляя там же, на Тестаччо, под сенью пирамиды Кая Цестия, размышлял о “великой чести покойным и гордым лежать здесь”.

30

Да, именно здесь возникает, наверное, конечный в цепи парадоксов на тему “русского Рима”: Вечный город все чаще и настойчивее воспринимается отечественным сознанием как “родина русской души”. Первым это почувствовал опять-таки Гоголь, который ощутил Рим как “родину души своей... где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет...”. Это ощущение передал позднее Валерий Брюсов:

*Не как пришлец на римский форум
Я приходил — в страну могил,
Но как в знакомый мир, с которым
Одной душой когда-то жил.*

Можно, наверное, возразить, что о Риме как “родине души” писал и английский лорд Байрон. Но есть “motherhood of the soul” отдельного талантливого и мятущегося человека — и есть “родина души” талантливого и нереализовавшегося народа. Часто цитируемый в этой книге Владимир Вейдле высказал как-то мысль о том, что Россия в мировой истории пока еще “не состоялась”, “не удалась” — в том смысле, в каком состоялись и удалась (что бы уже ни случилось с ними потом) Италия, Англия или Франция. Ибо Россия, в отличие от этих

стран, еще не создала “всесторонней, последовательной, цельной и единой национальной культуры; ее история прерывиста, и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хотя и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры (курсив мой. — А. К.)”. А это означает нечто весьма серьезное — что культура очень часто создается не только вне “земли”, но подчас и “вопреки земле”. Как никто понимавший эту тему, русский изгнанник Иосиф Бродский сказал однажды жестко, но точно, что если бы Пушкин не попробовал переводить Данте, а Гоголь не жил бы на улице Систина в Риме, “мы все еще пережевывали бы традиции русской народной сказки”.

Кстати, и сам Гоголь не раз лично подтверждал это — например, когда в январе 1842 г. писал из Москвы А. Максимовичу о невозможности работать в России: “Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ничего не в состоянии делать, — не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если бы ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем отечестве. Жду и не дожусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охлаждающие здесь...”

Поэтому не только о личном ощущении, но в первую очередь о национальном чувстве написаны парадоксальные, но глубоко верные строки “русского римлянина” и большого патриота России Михаила Осоргина: “Любовь к Риму — это любовь к родине; тоска по Риму — это тоска по родине...”

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ

РУССКИЕ

В

РИМЕ

ОРЕСТ
АДАМОВИЧ
КИПРЕНСКИЙ

35

ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ (24. 03. 1782, мыза Нежинская, близ Копорья, Петербургская губ. — 24. 10. 1836, Рим) — художник. Выходец из семьи крепостных. Окончил Академию художеств с Большой золотой медалью, однако полагающаяся ему заграничная стажировка из-за сложной международной обстановки была тогда отменена. В начале XIX в. прославился в качестве блестящего художника-портретиста, “русского Ван Дейка”, наследника лучших традиций Рокотова, Левицкого, Боровиковского.

Весной 1816 г., будучи уже известным художником, академиком и советником Академии художеств (заслужившим, согласно петровской табели о рангах, потомственное дворянство), тридцатичетырехлетний Кип-

ренский выехал в Италию в качестве пенсионера императрицы Елизаветы Алексеевны. Добрался морем до Травемюнде, потом почтовой каретой через Германию и Швейцарию, через Милан, Парму, Модену и Геную, в середине октября 1816 г. прибыл во Флоренцию. Затем в сопровождении своего знакомого, крупного вельможи и покровителя искусств Александра Львовича Нарышкина, много лет прожившего в Италии, приехал в Рим вечером 26 октября 1816 г.

О своих самых первых римских впечатлениях Кипренский писал позднее А. Н. Оленину:

“На другой день поехали увидеть Капитолию, видим Форум-Романум, Амфитеатр Титов, видим, что римляне не любили посредственное; все планы их были велики, обширны; настоящей меры не было ни в чем, особенно в пороках. Благодарю Бога, что я не рожден в те времена, когда люди, облаченные в тоги, более походили на чудовищей, нежели на людей... Я радуюсь, что родился русским и живу в счастливый век Александра первого и Елисаветы несравненной”.

После долгих поисков квартиры Кипренский наконец снимает мастерскую на улице, ведущей от площади Барберини через площадь Капуцинов, ныне не существующую, к монастырю Сан-Исидоро, по адресу: Via San Isidoro, № 18. В те дни он писал Оленину:

“Три месяца я искал себе студии, где бы работать. Иностранцев здесь столь великое число, что все почти уголки были ими заняты; однако я нашел несколько отдаленный

дом от шума, подле капуцинского монастыря... Ничто здесь не отвлекает меня от работы, и я очень счастлив. Контракт сделан на два года и с 1-го января 1817-го года, ибо иначе хозяин не соглашался отдавать сего дому, для меня весьма удобного”. (Кстати, “хозяином” Кипренского был домовладелец Джованни Мазуччи — у него на той же Via S. Isidoro весной 1837 г. будет снимать свою первую римскую квартиру Гоголь.)

В 1817 г. Кипренский работает в Риме над композицией “Аполлон, поразивший Пифона”, где в аллегорической форме изображает победу России над наполеоновской Францией. Следующая картина — “Молодой садовник” — была отослана в Петербург, где выставлялась в Эрмитаже. Чуть позже Кипренский пишет “Девочку в маковом венке” — это был первый портрет его воспитанницы Мариуччи, которая позднее станет его женой.

В октябре 1918 г. в Рим приехала целая группа молодых стипендиатов (“пенсионеров”) Российской Академии художеств — С. Гальберг, М. Крылов, В. Глинка, С. Щедрин. Будучи старожилом русской колонии художников в Риме, О. Кипренский помог им снять комнаты на соседней улице — Via della Purificazione. Скульптор Самуил Гальберг вспоминал о Кипренском:

“Орест Адамович Кипренский был среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более он любил far si bello <прихорашиваться>: рядился, завивался, даже румянился, учился петь и играть на гитаре и пел прескверно! Все



это, разумеется, чтобы нравиться женщинам. Не знаю, был ли он счастлив, но доволен собою был...

Весной 1819 г. по случаю приезда австрийского императора в палаццо Каффарелли на Квиринальском холме, по инициативе немецких художников из группы так называемых “назарейцев” во главе с Й.-Ф. Овербеком, была организована выставка иностранных живописцев. Среди многочисленных работ выделялась картина Кипренского “Ангел, прижимающий к груди гвозди от распятого Христа”. Слава Кипренского тогда выросла настолько, что Флорентийская Академия художеств впервые заказала автопортрет русского художника для галереи Уффици. (Через несколько лет молодой Александр Иванов, посетив Флоренцию, отметил, что среди автопортретов великих художников в Уффици работа “нашего Кипренского” заняла очень достойное место.)

В сентябре 1821 г. Кипренский выставляет в своей мастерской на Via San Isidoro, 18, свою новую работу — картину “Анакреонова гробница”. Вскоре после этого он решает ехать в Париж, однако незадолго до отъезда с ним происходит неприятная история: по вине его слуги в пожаре сгорела одна из натурщиц. Многие в Риме обвинили в случившемся самого художника. Биограф Кипренского, беллетрист и историк живописи В. В. Толбин писал:

“Любившие его римляне позабыли прежнего своего идола и начали смотреть на него как на человека, способного на жестокое истязание ближнего, что, впрочем,

нисколько не согласовывалось с его благородным, великодушным характером. Все отдалились от него, и общее мнение так сильно заговорило не в его пользу, что Кипренский долго после этой несчастной истории, которой вину он, кажется, принял на себя, желая избавиться от преследования своего слугу, умершего впоследствии в больнице, не решался ходить один по улицам Рима... Гордость Кипренского не допускала его оправдываться перед толпою. Только одни друзья и коротко знавшие Кипренского сохранили к нему прежнюю горячность и уважение”.

В феврале 1822 г. Кипренский уезжает из Рима во Флоренцию, в марте того же года — в Париж, а в августе — в Петербург. Перед отъездом Кипренский обратился к кардиналу Э. Консальви, государственному секретарю Папской области, пользовавшемуся неограниченным доверием престарелого Папы Пия VII, с просьбой поместить его юную воспитанницу Мариуччу, которая позировала ему для некоторых картин (и на которой он через несколько лет женится), в монастырскую школу с полным пансионом.

Во Франции Кипренский скучает по Италии и Риму. Летом 1822 г. он писал из Парижа своему другу — скульптору С. Гальбергу:

“Я бы лучше выбрал 12 тысяч дохода годового жить в Риме, нежели два миллиона жалованья, чтобы жить в Париже”.

Через несколько лет, в конце 1828 г., Кипренский покидает Францию: сначала он живет в Риме, потом в Не-

аполе, с весны 1832 г. — снова в Риме. Летом 1832 г. он выставляет в галерее на Piazza del Popolo восемнадцать картин, написанных в Италии. Биограф художника В. Толбин пишет о тогдашнем Кипренском в Риме:

42

“Всегда деятельный, всегда готовый на помощь и поощрения, нередко он обегал весь Рим, чтобы посмотреть на что-нибудь новенькое и изящное, чуть лишь до него доходили слухи. С карманами, наполненными кренделями и сухариками, которыми он имел обыкновение кормить голодных римских собак, пренебрегаемых своими хозяевами, Кипренский являлся на чердак какого-нибудь неизвестного художника и, заметив в нем признаки таланта, помогал и словом и делом. Известность о его добродушии и готовности служить всякому, чем он мог, сопровождала Кипренского из Петербурга в Италию, и многие письма, оставшиеся в его бумагах, писанные к нему из Женевы, Лозанны, Парижа и Германии, в которых, с полной уверенностью на его помощь, рекомендовались ему молодые художники, свидетельствуют о его бескорыстном расположении к добру”.

В 1833 г. Кипренский пишет в Риме новые работы, подтверждающие его славу “русского Ван Дейка”, — портреты датского скульптора Бертеля Торвальдсена и братьев-князей Ф. А. и М. А. Голицыных. Популярность Кипренского в Риме опять растет; о нем складывают анекдоты, один из которых приводит Толбин:

“Однажды баварский король, путешествовавший по Италии и бывший в Риме во время пребывания там Ки-

пренского, пожелал, как и все известные путешественники, посетить мастерскую знаменитого русского портретиста. Не застав Кипренского дома, король, в знак своего особого внимания, оставил ему свою карточку. Прочтя на ней “Roi de Baviere” <король Баварии>, Орест Адамович почел обязанностью отплатить визитом за визит и именно так же, в то самое время, когда он был уверен, в свою очередь, не застать короля. Поводом к такому неудачному выбору посещения было только одно желание также оставить свою карточку. На ней Орест Адамович, под подписью очень обыкновенною “Oreste Kiprensky”, горделиво прибавил “Roi des peintres” <король художников>”.

В своих мемуарных “Записках” работавший в Риме русский художник-гравёр Федор Иордан (будущий ректор Академии художеств) вспоминал о Кипренском в Риме начала 30-х годов:

“Утром он из первых в кофейной; модель у него имела почти ежедневно. Выходя после завтрака, он запасался белым хлебом; собаки за дверьми кофейной ждали его, и, будучи ими сопровождаем до студии, он бросал им куски хлеба, и их драка веселила его. Проработав день, он отправляется бывало обедать и старается отыскать хорошее вино, которое он требует по половине фульсты, и к концу вечера, когда он едва может говорить от вина, перед ним стоит целая батарея этих полуфульст. Но Боже избави, если прислуга, которая знает его слабость к вину, посоветует ему взять целую фульсту, он входит в обиду, давая ей знать, что он не пьяница и что

43



пьет по малой полуфульсте... Раз возвращаюсь я поздно из театра, желая что-нибудь закусить, вхожу в трактир. Все столы пусты, прислуга, облокотившись на свои руки, спит. Иду к нашему русскому столу, стоит лампочка, и в полутьме вижу Кипренского, с целую полубатарей полуфульст, в руках он держит приподнятый стакан красного вина перед лампочкой, восхищается его цветом. Говорил он едва внятно, и язык от вина ослаб. Всего удивительнее, что этот же человек, первый из художников, завтракает на другой день веселый, шутит с прислугой и собачки ждут его за дверьми кофейной”.

В конце зимы 1834 г. Кипренский уезжает во Флоренцию, а осенью снова возвращается в Рим, где по заказу графини М. А. Потоцкой начинает работу над своим последним большим полотном — “Портрет графини Потоцкой, сестры ее графини Шуваловой и эфиопянки”. Весной — летом 1836 г. Кипренский участвует в Риме в очередной выставке картин итальянских и иностранных художников, где выставляет картину “Голова старика”. 29 июня 1836 г. Кипренский принимает католичество, а в июле женится на своей бывшей натурщице и воспитаннице Мариучче (полное имя — Анна-Мария Фалькуччи), которую опекал с детства. В последние месяцы своей жизни он жил в Palazzo Claudio, который знаменит тем, что там ранее жил французский художник Клод Лоррен. Осенью 1836 г. Кипренский тяжело заболевает воспалением легких и вскоре умирает в своем римском доме. Ф. Иордан вспоминает о дне похорон Кипренского:

“Был октябрь месяц. В Риме этот месяц посвящен веселью и езде в коляске трудящихся женщин, разукрашенных цветами, с бубнами в руках, распеваящих свои песни; в такой веселый октябрьский день собрались на квартиру покойного свои и некоторые чужие отдать достойному труженику последний долг. Явились могильщики, взяли гроб, снесли вниз, положили на носилки, покрыли черным покровом, взвалили себе на плечи, и целая ватага капуцин, по два в ряд, затянули вслух свои молитвы. Мы же, с поникшими головами, следовали за гробом до церкви S. Andrea delle Fratte, где и поставили в память покойного Кипренского на стене мраморную доску...”

Мраморная плита, выполненная по рисунку художника Н. Е. Ефимова, установлена в церкви Sant Andrea delle Fratte (на углу одноименной улицы и Via Capo le Case) в четвертой капелле справа от входа. Между изображениями опрокинутых факелов в глубине приоткрытых врат размещена следующая надпись на итальянском языке:

“В честь и память Ореста Кипренского, славнейшего из русских художников, профессора Императорской Академии художеств в Петербурге и советника Неаполитанской Академии, поставили на свои средства все русские художники, архитекторы и скульпторы, сколько их было в Риме, оплакивая безвременно угасший светоч своего народа и столь высокие душевные достоинства. Скончался 49 лет от роду 10 октября 1836 года от Рождества Христова”.

Узнав о смерти О. Кипренского, которая в России осталась почти незамеченной, другой великий русский художник, Александр Андреевич Иванов, писал отцу из Рима:

“Знаменитый Кипренский скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе, а русские его всю жизнь считали за сумасшедшего, старались искать в его поступках только одну безнравственность, прибавляя к ней кому что хотелось. Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда не жалован от двора, и все это потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать этого”.

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛКОНСКАЯ

49

Зинаида Александровна Волконская, княгиня (1789, Дрезден — 1862, Рим) — литератор, певица, актриса, покровительница искусств. Родилась в 1789 г. в Дрездене, где ее отец, князь Александр Михайлович Белосельский (с 1799 г. Белосельский-Белозерский), был русским посланником при Саксонском дворе. В 1792 г. семья Белосельских переехала в Турин, где вскоре скончалась первая жена князя, мать Зинаиды — В. Я. Татищева.

Князь А. М. Белосельский-Белозерский был одним из образованнейших русских людей своего времени. Его философские сочинения были высоко оценены самим Иммануилом Кантом, он писал стихи на нескольких языках, увлекался театром, собирал произведения искусства. После его смерти в 1809 г., которую княжна Зинаида тяжело переживала, она вышла замуж за князя Никиту Григорьевича Волконского, флигель-адъютанта

Александра I; в 1811 г. у них родился сын Александр. До 1817 г. Волконская жила за границей — в Дрездене, Праге, Вене, Лондоне, Париже. В Париже Волконская с большим успехом поставила оперу Россини “Итальянка в Алжире”, где исполнила главную партию. Ее пение вызвало восторг у самого Россини, а известная актриса Марс посоветовала, что “такой сценический талант достался на долю дамы большого света”. Император Александр I не одобрял увлечение Волконской театром:

“Искренняя моя привязанность к Вам, такая долговременная, заставила меня сожалеть о времени, которое Вы теряете на занятия, по моему мнению, так мало достойные Вашего участия”.

В Россию З. Волконская вернулась в 1817 г. Писала новеллы в романтическом стиле на французском языке. Оценивая ее литературный талант, известный литератор и историк С. П. Шевырев писал:

“В ней врожденная любовь к искусству. О, если бы она в молодости писала по-русски! У нас бы поняли, в чем состоит деликатность и эстетизм стиля. Она создала бы у нас Шатобрианову прозу...”

Благодаря исследованиям А. Трубникова (“А. Трофимова”), П. Каццола, М. Коладжованни, И. Бочарова, Ю. Глушаковой и других тема “Зинаида Волконская в Риме” является достаточно разработанной. Княгиня приехала в Рим в 1820 г. и сняла большие апартаменты в Palazzo Poli. (К нашему времени сохранилась часть дворца, в том числе стена, к которой примыкает знаме-

нитый фонтан Треви.) Дворец Поли, а также загородная резиденция Волконской — вилла во Фраскати — превратились в “русские салоны” в Риме: там музицировали, пели, декламировали стихи, ставили русские пьесы и оперы. Участниками первого “римского кружка” Волконской (1820–1822) были скульптор Самуил Иванович Гальберг, художники Сильвестр Феодосиевич Щедрин и Василий Кондратьевич Сазонов, архитектор Константин Андреевич Тон. Для своего домашнего театра Зинаида Александровна написала музыкальную драму “Жанна д’Арк” по “Орлеанской деве” Шиллера, в которой исполнила главную роль; в остальных ролях выступали русские художники, которые были и авторами декораций к спектаклю. С. Гальберг вспоминал:

“Женщина прелюбезная, преумная, предобрая, женщина — автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными... Когда мы, русские пенсионеры, стали с ней познакомее, она начала приглашать нас на свои музыкальные вечера, что здесь, в Риме, называется приглашать в Академию. Мало-помалу эти музыкальные вечера превратились в оперу, и мало-помалу мы сами из зрителей превратились в актеров. Роли наши, правда, очень невелики и нетрудны: все дело только в том, чтобы постоять на сцене и не шуметь; но мы и то не умеем, несмотря на несколько проб”.

С. Щедрин в письме родителям описал один из праздников — именины Волконской — на вилле во Фраскати:

“Одну залу убрали на манер древних римлян, повсюду уставлена была серебряной посудой, вазами, лампадами, коврами, все это было переплетено гирляндами и делало вид великолепный; все мужчины, одетые в римские платья, ввели княгиню в сию комнату; дамы ужинали по-римски, лежа на кушетках вокруг стола. А кавалеры в римских платьях, с венками на головах, им служили... После ужина много шутили, пели в честь ей стихи, словом сказать, было совершенно весело...”

Тот же Щедрин оставил воспоминания об участии членов “кружка Волконской” в одном из римских карнавалов:

“Княгиня Зенеида <Зинаида> Александровна Волконская со всеми домашними были наряжены кошками, чем наполнили всю свою коляску, равно козлы и запятки были уставлены кошками. Позади ее, также в коляске, наша братия, именно, я, Гальберг, Сазонов и Тон были наряжены собаками; таковые новые маски обратили на себя всех внимание, крик и хохот раздавался повсюду в награду...”

В 1822 г. З. А. Волконская возвратилась в Петербург, занималась литературным творчеством, а в 1824 г. переехала в Москву, где посетителями ее знаменитого “салона на Тверской” во дворце Белосельских-Белозерских (на месте нынешнего магазина Елисеева) были Пушкин, Вяземский, Баратынский, Шевырев, братья Киреевские, Веневитинов, Языков, Дельвиг, Чаадаев, Кюхельбекер, Мицкевич. Именно Волконской посвящено знаменитое стихотворение Пушкина “Среди рассеянной Москвы”:

*Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.*

Поклонником княгини был и поэт Д. В. Веневитинов:

*Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам принесла.*

После декабристского восстания 1825 г. Волконская не побоялась проявить живое участие к своей невестке Марии Николаевне Волконской — жене сосланного в Сибирь генерала Сергея Григорьевича Волконского. М. Н. Волконская вспоминала:

“Зная мою страсть к музыке, она <Зинаида Волконская> пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве... Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее...”



Площадь Треви (гравюра XVIII в.). Справа — церковь Santi Vincenzo e Anastasio, где похоронена З. А. Волконская.

Оппозиционность московского салона Волконской привлекла внимание правительства. Агент докладывал шефу жандармского управления Бенкендорфу:

“Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына <мать братьев-декабристов>”.

Волконская решает покинуть Россию и ехать в Италию. По случаю ее отъезда в Рим поэт Е. А. Баратынский написал следующее “Посвящение”:

*Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон
Одушевленный, сладострастный,
Где в куцах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат...*

* * *

*И неутешно мы рыдаем.
Так сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.*

В Риме З. А. Волконская снова поселилась в том же Palazzo Poli вместе с сыном Александром и его воспитателями — историком и литератором С. П. Шевыревым и молодым философом Н. М. Рожалиным. В сентябре 1828 г. Волконская писала об Италии своему другу, князю П. А. Вяземскому:

“Эта страна, где я прожила четыре года, стала моей второй родиной: здесь у меня есть настоящие друзья,

встретившие меня с радостью, которой мне никогда не оценить в достаточной мере... Все мне любезно в Риме — искусства, памятники, воздух, воспоминания”.

56

Тогда же З. Волконская арендовала новую виллу (palazzo с участком) на берегу Тибра, в самом центре Рима. Одним фасадом дворец выходил на улицу Monte Brianzo, а другим — непосредственно на реку. (Эта часть набережной, прилегавшая к известной в Риме церкви Santa Maria in Posterula, была позднее расчищена, и вилла Волконской вместе с окружающими домами и церковью была снесена.) Выбор Волконской объяснялся тем, что русская княгиня, увлеченная католицизмом, не желала селиться в “гетто англичан”, как тогда называли популярный среди “fogrestieri” (иностранцев) район площади Испании. Биограф княгини, Пьетро Каццола, так описывает квартал, где поселилась Волконская:

“В этом лабиринте молчаливых улочек, среди древних дворцов и современных лавок парикмахеров и шляпников, еще можно найти остерию, распахивавшую свою дверь перед праздными слугами господских домов; или торговцев лимонами и фруктами, превращавших свои лавчонки в благоухающие беседки; или торговца жареной рыбой, выставявшего свой товар, украшенный лаврами; или колбасника, который на Пасху причудливо оформлял витрину статуэтками из свиного сала, казавшимися сделанными из алебаstra, а по вечерам подсвечивал свой “гастрономический храм” фонариками. И так, таким был квартал, в котором на протяже-

нии долгих лет жила Зинаида Волконская, недалеко от достопримечательной гостиницы “Медведь” <Albergo del Orso>, принимавшей Монтея и, может быть, Данте, — и от дома Рафаэля, где урбинец рисовал Форнарину”.

57

В 1830 г. З. А. Волконская купила у князя Альтьери виллу близ храма San Giovanni in Laterano, окруженную большим парком, в котором сохранились аркады античного акведука Нерона, сооруженного в I в. н. э. как ответвление от акведука Клавдия для снабжения водой нового дворца Нерона. Описание виллы Волконской оставили С. П. Шевырев, П. В. Анненков, Ф. И. Буслаев, М. П. Погодин.

Погодин: *“Вилла княгини Волконской за Иоанном Латеранским прелестна — домик с башенкою, впрочем, довольно обширную, по комнате в ярусе, выстроен среди римской стены и окружен с обеих сторон виноградниками, цветниками и прекрасно устроенными дорожками. Вдали виднеются арки бесконечных водопроводов, поля и горы, а с другой римская населенная часть города и Колизей, и Петр. Всего более меня умилил ее садик, посвященный воспоминаниям. Там под сенью кипариса стоит урна в память о нашем незабвенном Дмитрие Веневитинове... Есть древний обломок, посвященный Карамзину, другой Пушкину... Как много чувства, как много ума у нее! Всякий уголок в саду, всякий поворот занят, и как кстати. Где видите вы образ Божией Матери, где древнюю урну, камень, обломок с надписью”.*

В апартаментах Волконской в палаццо Поли и на ее вилле близ San Giovanni in Laterano бывали многие известные русские в Риме: Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, М. И. Глинка, О. А. Кипренский, С. Ф. Щедрин, К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни, А. А. Иванов, П. Н. Орлов, Ф. И. Иордан, И. В. Киреевский. Гостями Волконской были также Адам Мицкевич, Вальтер Скотт, Стендаль, Виктор Гюго, Фенимор Купер, композитор Гаэтано Доницетти, художник Винченцо Каммучини, датский скульптор Бертель Торвальдсен. Палаццо Поли, возможно, посещал и Александр Дюма, поскольку этот дворец вместе с примыкающим к нему фонтаном Треви описан в сцене римского карнавала в “Графе Монте-Кристо”. На вилле Волконской была собрана уникальная коллекция картин и обширная библиотека. А в парке княгиня устроила “Аллею воспоминаний”, вдоль которой установила обелиски и стелы в память дорогих ей имен — Карамзина, Пушкина, Веневитинова, Баратынского, Жуковского, Гете, Байрона, Вальтера Скотта...

В 1832 г. Волконская хотела уехать в Россию, где ее сын Александр должен был продолжить образование, но в Больцано тяжело заболела. Сопровождавший княгиню С. Шевырев писал тогда А. Мицкевичу:

“Господь сохранил нам нашу дорогую княгиню, порадитесь этому и, если сможете, приезжайте сюда порадоваться вблизи нее... Наш ангел был готов улететь на небо, но друзья удержали его за крылья, и Бог оставил его нам, так как здесь внизу тоже нужны хорошие люди...”

Вернувшись в Рим, Волконская написала Мицкевичу:

“Я нахожусь в Риме, как Вы того желали; мне не удалось отправиться туда, куда меня звал мой долг, то есть в Россию... За мной ухаживали мои дорогие итальянцы, столь славные своим добрым нравом и характером. Они решили, что я должна вернуться в Рим”.

В 1833 г. в Риме З. А. Волконская приняла католичество (“моя болезнь привела меня к согласию с Богом”, писала она Мицкевичу). Римский салон Волконской стал одним из влиятельных центров католических кругов. В 40–50-х годах княгиня Волконская активно занималась благотворительностью, открыв несколько католических школ для девочек. М. Коладжованни так описывает обычный день княгини:

“Утром, с десяти до полудня, у ее дома выстраивались в очередь поборники разных добрых дел, нищие, бедные, ищущие работу, те, кому требовались совет и утешение. В полдень княгиня приглашала их сопровождать ее в какую-нибудь церковь на мессу или для благословенья, а в завершение — на прогулку в парк Пинчио. В два часа она обедала. Это было время визита ее родственников, многие из которых служили в посольстве; тогда же съезжалось светское общество, поскольку все были уверены в том, что найдут княгиню дома; и каждый мог принять участие в обеде, за которым присутствовали ее близкие друзья: аббат Жербе, монсеньор Луке, аббат Марте. Среди присутствующих было много французов. Вечер от-

водился обществу. Ее приемным днем был вторник. В ее доме встречались самые знаменитые католические деятели того времени”.

Зинаида Александровна Волконская скончалась в Риме в 1862 г. Согласно легенде, княгиня отдала шаль замерзавшей на улице нищенке, а сама, пока дошла до дома, простудилась, у нее началось воспаление легких, которое и свело ее в могилу. По свидетельству очевидцев, когда Зинаида Волконская умерла, “огромная толпа простых людей стояла вдоль дороги от виллы Волконской до церкви Св. Винченцо, чтобы проводить до могилы свою любимую «русскую княгиню»”.

За три года до своей смерти Волконская купила склеп и перенесла туда останки мужа, Никиты Григорьевича. Прах Зинаиды Александровны Волконской, ее мужа, а также сестры, Марии Александровны (по мужу Власовой), покоится ныне в первой капелле справа в церкви Santi Vincenzo e Anastasio на площади рядом с фонтаном Треви. По мнению биографа З. Волконской, известного русского искусствоведа Александра Трубникова (написавшего на французском языке под псевдонимом André Trofimov книгу “Княгиня Зинаида Волконская. Из императорской России в папский Рим”), Волконская, много жертвуя церкви, мечтала о погребении в соборе Св. Петра, где захоронены тела предстоятелей римской церкви и других выдающихся деятелей католицизма. За заслуги перед папством там покоятся и останки двух женщин: графини Матильды, к воротам замка которой в

Каноссе совершил унизительное паломничество король Генрих IV; а также отрешившейся от протестантизма королевы Швеции Христины. Однако и церковь Святых Винченцо и Анастасио также имеет в папском Риме особый статус: в ее подземелье по традиции погребались урны с сердцами умерших пап.

Сын Волконской, Александр Никитич Волконский, стал видным дипломатом и писателем — ему, в частности, принадлежит изданный в 1845 г. двухтомный труд “Рим и Италия средних и новейших времен”. Он оставил свое состояние приемной дочери Надежде, вышедшей замуж за итальянского маркиза Владимира Кампанари. После ее смерти в 1922 г. римская вила Волконской была продана итальянскому государству и стала резиденцией министра иностранных дел Италии. Сегодня здесь расположена резиденция посла Великобритании в Риме. Вход в резиденцию сегодня расположен на площади, носящей имя Зинаиды Волконской.

КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВ

62

Карл Павлович Брюллов (настоящая фамилия — Брюлло) (23. 12. 1799, Петербург — 23. 06. 1852, Манциана, под Римом) — художник. Предками семьи Брюлло были французские протестанты-гугеноты, бежавшие в Германию. После окончания с Большой золотой медалью Академии художеств в Петербурге Карл Брюлло получил право поездки в Италию с ежегодной пенсией в пять тысяч рублей. Перед отъездом ему, по просьбе Общества поощрения художников (которое, согласно Уставу, поощряло только художников “отечественных”), была высочайше пожалована русская фамилия “Брюллов”.

Братья Брюлловы — Карл и Александр (будущий известный архитектор, автор проекта Пулковской обсерватории и Михайловского театра) выехали дилижансом из

Петербурга 16 августа 1822 г. Проехав через Ригу, Берлин, Дрезден, они из-за болезни Карла задержались в Мюнхене до апреля 1823 г. Продолжив затем путешествие, Брюлловы, минуя Вену, добрались до Венеции; неделя, проведенная в этом городе, осталась в их памяти навсегда. Далее через Падую, Верону, Болонью и Флоренцию братья Брюлловы 2 мая 1823 г. приехали наконец в Рим.

Сначала они поселились в доме, где жили многие художники, на углу Via delle Quattro Fontane и Via del Quirinale на Квиринальском холме возле папского дворца. В Риме Брюлловы быстро сдружились с другими русскими пенсионерами Академии художеств: Сильвестром Щедриным, Петром Басиным, Самуилом Гальбергом. Александр Брюллов писал родным в Петербург:

“Приехавши в Рим, мы очень скоро познакомились там со всеми русскими пенсионерами; но что я говорю! Нам и не надо было с ними знакомиться, даже Гальберг и Щедрин, с которыми мы никогда ни слова не говорили и они нас первый раз в Риме только лично узнали, через пять минут были так знакомы, как будто мы были с ними знакомы с малолетства... Мы начали нашу жизнь в Риме очень приятно. За несколько времени сговорилось нас пять человек: Гальберг, Щедрин, Басин, я и брат и сделали маленькое путешествие по Альбанским и Тускуланским горам... Недели в полторы сделали маленькое путешествие в Тиволи... Карл потому к Вам не пишет, что остался на несколько времени в Тиволи и пишет с натуры...”

63

Выбор молодым Карлом Брюлловым Тиволи понятен: горы, водопады, древние храмы и руины дворцов-вилл Адриана и покровителя искусств Мецената, великолепный ансамбль виллы кардинала д'Эсте (xvi в.) — все это делало Тиволи воплощенной мечтой любого художника.

В Риме К. Брюллов был представлен неформальному наставнику русских художников в Риме — известному историческому живописцу и ректору Академии Сан-Лука Винченцо Каммучини, а также стал брать уроки скульптуры у знаменитого датчанина Бертеля Торвальдсена. В соответствии с программой командировки он в течение многих месяцев исправно занимался копированием фресок в Ватикане. В те дни он писал отцу:

“Папенька! Если хотите знать, где я с десяти часов утра по шесть часов вечера, посмотрите на эстамп Рима, который у нас висел: там увидите маленький купольчик Св. Петра, первый дом по правую руку или по левую — это называется Ватикан...”

Об обстановке в своей мастерской Брюллов сообщал следующее:

“В моей мастерской находятся: Аполлон Бельведерский, Венера Медицейская, Меркурий Ватиканский, торс Бельведерский, нога Геркулеса (правая) и голова Аякса. Какое приятное и полезное общество!”

Брюллов полагал, что для того, чтобы самому создать что-то достойное, надо, по его словам, “пережевать 400 лет успехов живописи”. Среди художественных образцов его более всего увлекали Рафаэль, Рубенс, Рембрандт,

Веласкес, Тициан и, как многих романтиков его времени, болонский маньерист Гвидо Рени.

В 1823 г. Брюллов закончил первую крупную самостоятельную работу — картину “Итальянское утро”. По поводу этой переправленной в Петербург картины Общества поощрения художников ответило Брюллову:

“Прелестное произведение сие пленило равно всех членов Общества... Что всего более радует комитет Общества, то это то, что ваш первый труд вне отечества доказывает ясно те великие надежды, кои Общество вправе иметь на вас впоследствии и кои без всякого сомнения вы совершенно оправдаете...”

Впоследствии эта картина стала украшением Петербургской художественной выставки 1825 г.; ее особо отметил один из зрителей — А. С. Пушкин. Члены Общества поднесли “Итальянское утро” в подарок императору Николаю I, который, по свидетельству очевидцев, поставил ее на стул в своем кабинете и подолгу любовался, стоя перед нею на коленях.

Исследователь творчества Брюллова, Г. К. Леонтьева, писала о брюлловском переживании Рима:

“Природа и жизнь во всем многообразии проявлений вторгаются и в душу Карла, и в его искусство. Ему, словно вырвавшимся из стен обители послушнику, жадно и страстно хочется всего — узнавания новых людей, знакомства с многоликой, итальянской и иноземной, художнической братией, с их работами. Ему хочется ходить по Риму, ездить по Италии, часами разговаривать в кафе

Греко, прибежище всех художников и поэтов, за стаканом вина... Ему хочется любить и работать. Больше всего — работать. Все годы в Италии он живет такой напряженной жизнью, что диву даешься, как на все это хватало его сил. Иногда он срывается и сваливается в постель то с лихорадкой, то с мучительнейшими головными болями...

Покровителем Брюллова в Риме стал князь Григорий Иванович Гагарин — русский посланник при Тосканском дворе, выполнявший дипломатические миссии и в Риме (а после смерти русского посла в Риме А. Я. Италинского занявший его место). В римском доме Гагариных (как и в других “русских салонах” — у княгини Зинаиды Волконской, у графини Юлии Самойловой, у братьев Тургеневых) собирались представители русской колонии в Риме и именитые путешественники, ставились домашние спектакли. В постановке “Недоросля” по Фонвизину Карл Брюллов выступил не только как автор декораций, но и как успешный исполнитель сразу двух ролей — Простакова и Вральмана. (Роли в этом спектакли исполняли все члены семьи Гагариных, а также русские пенсионеры Академии художеств — К. Тон, С. Гальберг, С. Щедрин, П. Басин, брат Брюллова — Александр.)

В Риме Брюллов почти ежедневно посещал расположенные у Испанской площади “Caffe Greco” (это кафе на Via Condotti, 86, имеющее двухсотсорокалетнюю историю, сохранилось до наших дней) и не менее популярный в интернациональной среде художников трактир

“Lepre” (“Заяц”). В летние месяцы ездил с друзьями в Неаполь, на осликах поднимался на Везувий, путешествовал на лодке по окрестным островам.

По возвращении в Рим с Брюлловым произошла неприятная история, сильно повредившая ему в общественном мнении: одна из его молодых поклонниц, французенка Демулен, приревновав Карла к русской графине, подъехала как-то в наемной карете к берегу Тибра, расплатилась с кучером, сняла шляпку и шаль и бросилась в Тибр с Понте Молле. Сын Г. А. Гагарина, молодой князь Григорий Григорьевич Гагарин, начинающий художник и ученик Брюллова, вспоминал:

“Это происшествие наделало в Риме много шума... Приближалось лето... Мы <семья Гагариных> собирались переехать в Гротта-Феррата <вилла в окрестностях Рима>... Чтобы извлечь Брюллова из того затруднительного положения, в какое он попал по своей собственной вине, мои родители предложили ему уехать вместе с нами на некоторое время за город. Он понял, что отдых среди чудной природы, совмещенный с правильной жизнью в семье, пользующейся общим уважением, может благотворно повлиять на его потрясенную душу и что новая жизнь поможет ему восстановить себя в общественном мнении, — и принял наше предложение”.

Г. Г. Гагарин (в 60–70-е годы он станет вице-президентом Санкт-Петербургской Академии художеств) оставил воспоминания о совместных прогулках с Брюлловым по окрестностям Рима:



Угол Via Quattro Fontane и Via Quirinale. В этом доме находилась первая римская квартира Карла и Александра Брюлловых.

“Сколько раз, таща наши краски и складные стулья, ходили мы с Брюлловым, изучая: он — как маэстро, я — как ученик — то старую заброшенную кузницу, то мадонну, вделанную в узловатый ствол дуба, то чудные, большие зонтичные листья... В этих-то прогулках он посвящал меня в тайны колорита, объяснял мне то, что я чувство-

вал, не отдавая себе отчета. Однажды, рисуя нарядные листья, свесившиеся в воду на берегу ручья, он начал словами анализировать их красоту и кистью передавать цвета и оттенки, прозрачность вод и все бесконечно мелкие вариации световой игры природы. Все это он передавал с таким глубоким пониманием, таким увлечением и правдой, что казалось, словно вы слушаете физиолога, живописца и поэта вместе. Урок Брюллова был для меня как бы откровением, — с тех пор я понял, что в прелестях природы скрывается не только интерес невольного наслаждения, но и интерес разума”.

По вечерам у Гагариных Брюллов переносил свои ощущения на бумагу. Тогда, по словам молодого князя Гагарина, “происходили чудеса”, “появлялось или одно из сравнительно больших его произведений, или же несколько маленьких шедевров”.

Г. Г. Гагарин: *“То были или впечатление, принесенное с прогулки, или фантазия романтического, порой классического характера, или иллюстрация последнего чтения, то, наконец, воспоминание юности или опыт нового способа живописи, или же случайно нарисованная фигура, о которой он весьма живо импровизировал вслух целую историю с забавными замечаниями...”*

После возвращения с Гагариными из Гротта-Феррата Брюллов продолжил работу по частным заказам. Писал он необыкновенно быстро: портрет полковника А. Н. Львова, один из признанных шедевров портретной живописи, Брюллов написал всего за три часа. О методе

работы Брюллова вспоминал позднее его римский коллега, художник-гравер Федор Иванович Иордан:

“В Риме все удивлялись таланту Карла Брюллова; он работал по временам запоем; бывало, утром начнет что-нибудь трудное, вечером усталый и голодный является с папкой и жалуется, что очень устал; когда же покажет работу, то приводит в недоумение от столь огромной и так скоро оконченной работы”.

В 1927 г. Брюллов написал в Риме еще одну знаменитую картину — “Итальянский полдень”. А после исполнения им следующей работы — копии в натуральную величину с фрески Рафаэля “Афинская школа” (над которой художник с перерывами работал четыре года) — царь Николай I велел заплатить Брюллову сверх назначенной русским посольством цены в десять тысяч рублей еще пять и пожаловал ему орден Владимира 4-й степени (небывалый случай для “художника 14-го класса” согласно табели о рангах!). Интересный факт: 5 мая 1828 г. в Станце Сигнатуры Ватикана произошла встреча Брюллова, заканчивавшего копировать “Афинскую школу”, и бывшего тогда в Риме Стендаля. Знаменитый француз написал в своих “Прогулках по Риму”:

“Копия эта, по-моему, была бы превосходна, если бы художник не позволял себе иногда восстанавливать то, что время уничтожило в произведении Рафаэля, и даже некоторые детали, которых Рафаэль не хотел изображать на картине, рассматриваемой с расстояния семи или восьми шагов”.

Ту же особенность брюлловской копии отметил, словно сговорившись со Стендалем, и рецензент “Отечественных записок”:

“Брюллов в ней < в копии Рафаэля > не только сохранил все красоты подлинника, но отыскал, или, лучше сказать, разгадал и то, что похитило у него время”.

Впоследствии Брюллов признается, что он решился писать огромное полотно “Последний день Помпеи”, только успешно пройдя школу копирования рафаэлевских фресок. Очень точно отметил в свое время высоко ценивший творчество Брюллова А. С. Пушкин:

“Так Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подбострастием списывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной Вулканом...”

Между тем К. Брюллов становится в Риме все более известным и модным художником. Многие русские аристократы, путешествовавшие по Италии, считали за честь заказать ему портреты или “сцены из итальянской жизни” — случалось, что Брюллов отвечал отказом. Один из корреспондентов-доброхотов доносил брату Александру в Париж:

“Твой брат Карл портрет для великой княгини Долгоруковой делать отказался. Демидову картину за 15 тысяч, которую он ему заказал, не хочет делать... Он какой-то получил крест от императора, но не носит, за что ему неоднократно князь Гагарин делал выговор — бесполез-

но... *Хочет быть вне зависимости... От Карла все возможно...*"

72 Что же касается главного труда Брюллова — картины "Последний день Помпеи", то мысль написать большое полотно на этот сюжет пришла ему в голову во время поездки в Помпеи летом 1827 г., организованной проживавшим в Италии русским меценатом Анатолием Николаевичем Демидовым. В те месяцы Брюллов внимательно следил за раскопками Геркуланума и Помпей, изучал поступившие в Неаполитанский музей археологические находки. Об обстоятельствах катастрофы — извержения вулкана Везувий в августе 79 г. н.э., погубившего Помпеи, — Брюллов знал из текста "Писем" Плиния Младшего. Специалистом по данному вопросу, несомненно, был брат Брюллова — Александр; он побывал в Помпеях в 1824 г., и как раз при нем был раскопан комплекс помпейских терм — публичных бань. Позднее, в 1829 г., с авторским текстом и таблицами Александра Брюллова в Париже вышел большой альбом по названию "Термы Помпеи". Считается также, что большую роль в создании Карлом Брюлловым "Последнего дня Помпеи" сыграла одноименная опера Джованни Пачини, которая шла на сцене "Ла Скала" в декорациях Алессандро Санквирико. Однако Брюллов мог увидеть этот спектакль в Милане не раньше конца 1830 г. — в это время основная композиция картины была уже в целом сформирована.

Демидов заключил с Брюлловым контракт, который обязывал художника окончить картину к концу 1830 г.

Однако сроки все время переносились; Брюллова отвлекали частные заказы и новые поездки — в Венецию и Болонью (как он говорил, "для совета со старыми мастерами")...

В мае 1828 г. произошло крупное извержение Везувия, которое успел запечатлеть проживавший в Неаполе русский художник Сильвестр Щедрин. В те дни Щедрин писал:

"Наконец мне удалось увидеть и сделать эту с натуры: извержение Везувия... Слухи о сем извержении тотчас дошли до Рима. Оттуда множество иностранцев пустилось в Неаполь, в том числе Брюллов, но лишь Брюллов явился ко мне, то, как на смех, стихший вулкан перестал вовсе куриться, и он, пробыв дня четыре, возвратился опять в Рим".

В 1828 г. Брюллов написал по заказу князя Г. И. Гагарина шесть образов (на медных медальонах диаметром около 35 сантиметров каждый) для "золотых врат" иконостаса домового церкви русского посольства, которое тогда находилось в Palazzo Odescalchi (между Корсо и площадью Апостолов). Брюллов сообщал в Общество поощрения художников:

"По случаю установления русской церкви в доме нашего посольства все русские художники, находящиеся в Риме, взяли на себя соглашение 2-на посланника <князя Гагарина> пожертвовать для украшения оной своими трудами; мне досталось написать царские двери; в половине октября сия работа должна быть кончена".

Общая композиция деревянного, выкрашенного под мрамор, с позолотой, иконостаса принадлежит архитектору К. Тону. На фризе иконостаса — надпись: “Благословен Грядый во Имя Господне”. “Царские врата” с брюлловскими образами несколько раз переезжали из одной домово́й церкви при русском посольстве в другую — в палаццо Памфили на Piazza Navona, в палаццо Джустиниани близ Пантеона, в палаццо Менотти на Piazza Savona... Сегодня брюлловские образа находятся в православной церкви на Via Palestro, № 71, расположенной в бывшем палаццо Чернышевой. (Следует добавить, что над убранством православной церкви в Риме работали и другие русские художники: образы Спасителя и Божией Матери написаны Х. Гофманом, св. Николая Чудотворца — Ф. Бруни, св. Александра Невского — А. Марковым, изображение Тайной Вечери — И. Габерцетелем и т. д.)

В 1832 г. Брюллов по заказу графини Юлии Павловны Самойловой (урожденной Пален) написал в Риме знаменитую “Всадницу” — конный портрет воспитанницы графини — Джованины Паччини. Будучи другом и поклонником Самойловой (Брюллов часто бывал в ее римском доме, жил на ее вилле в Ломбардии), он написал несколько ее портретов, а впоследствии изобразил в образе матери с дочерьми в левой части “Гибели Помпеи”.

Работа Карла Брюллова над “Последним днем Помпеи” продолжалась в Риме, в мастерской на Via San Clau-

dio (между Corso и Piazza San Silvestro) с 1827 по 1833 г. Сам Брюллов вспоминал о завершении своей главной картины:

“Целые две недели я каждый день ходил в мастерскую, чтобы понять, где мой расчет был неверен. Иногда я трогал одно место, иногда другое, но тотчас же бросал работу с убеждением, что части картины были в порядке и что дело было не в них. Наконец мне показалось, что свет от молнии на мостовой был слишком слаб. Я осветил камни около ног воина, и воин выскочил из картины. Тогда я осветил всю мостовую и увидел, что картина моя была окончена...”

Когда грандиозная работа была наконец завершена, в мастерскую Брюллова пришел Виченцо Каммучини и, постояв несколько минут перед картиной, обнял Брюллова и произнес: “Abraciame, Collosse!” (“Обними меня, Колосс!”) (Считается, что у этого признания мэтром итальянской исторической живописи работы Брюллова была своя предыстория. Скульптор Н. А. Рамазанов вспоминал, что одно время Каммучини весьма небрежно отзывался о Брюлло́ве, говоря, что “этот pittore russo способен только на маленькие вещицы”. Позднее, когда Рим уже наполнился слухами о “новом чуде искусства, совершившемся на улице Св. Клавдия”, Каммучини при встрече с Брюлловым попросил его показать картину, о которой так много говорят. Брюллов, зная о снисходительном мнении о себе итальянского мэтра, отвечал, что не стоит старому живописцу утруждать себя походом в

брюлловскую мастерскую, потому что “там вещица совсем маленькая”. Поэтому для Каммучини законченное огромное полотно Брюллова явилось полной неожиданностью.)

Картина Брюллова была выставлена для всеобщего обозрения. “У нас в Риме важнейшим происшествием была выставка картины Брюллова в его студии. Весь город стекался дивиться ей”, — сообщал из Рима философ Н. М. Рожалин своему другу С. П. Шевыреву. Работа Брюллова была объявлена “первой картиной золотого века” в искусстве. Большой Вальтер Скотт приехал в Рим, когда мастерская Брюллова была уже закрыта для публики, но целая депутация английских художников уговорила Брюллова дать возможность писателю посмотреть картину — тот пробыл в мастерской около часа и поздравил автора. После Рима картина выставлялась в Милане (в Ломбардском зале Брерского дворца), а затем — с немалым успехом — в Парижском салоне 1834 г. в Лувре. Брюллова избирают профессором первой степени Флорентийской Академии художеств; его с триумфом встречают в Болонье, где он некоторое время собирается даже поселиться и построить собственную виллу. А. Н. Демидов заплатил за “Гибель Помпеи” 40 000 франков и преподнес ее в дар российскому императорскому дому; царь Николай I вскоре наградил Карла Брюллова орденом Анны 3-й степени. О триумфальном появлении картины Брюллова в Петербурге поэт Е. А. Баратынский написал стихи:

*Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень —
И был “Последний день Помпеи”
Для русской кисти первый день!*

В начале 1835 г. Брюллов написал эскиз “Нашествие Гензериха на Рим” (эту картину он задумал как не менее грандиозное полотно, чем “Гибель Помпеи”), но в конце мая того же года покинул Рим и отправился в большое путешествие на восток — в Грецию и Турцию. После этого он много лет прожил в России...

Лишь в 1850 г. Брюллов снова приехал в Рим, неожиданно прервав лечение от легочной и сердечной недостаточности в Фуншале, на острове Мадейра. В первом же письме из Рима ставит сверху эпитафия: “Roma, и я дома...” Большую радость доставила Брюллову новая встреча со старинной римской знакомой — княгиней Зинаидой Александровной Волконской, жившей на своей вилле близ базилики San Giovanni in Laterano. Присутствовавшая при этой встрече сестра княгини, Мария Александровна (по мужу Власова), рассказывала потом:

“Они долго не виделись, и встреча их была таким взрывом радости, таким слиянием общих интересов, иных, высших и более специальных, чем у других, что сразу все присутствующие почувствовали, что они отходят на задний план и что они только случайные, посторонние зрители другой жизни”.

На этот раз Брюллов некоторое время прожил в Риме на Via del Corso у своего друга Анджело Титтони — соратника Гарибальди, видного участника революционного движения и полковника национальной гвардии, недавно отсидевшего несколько месяцев в заточении в замке Св. Ангела. Летом 1851 г. Брюллов переезжает в загородный дом Титтони в местечке Манциана в окрестностях Рима — там он пользовался расположенными в нескольких километрах, в Стильяно, серно-йодистыми минеральными источниками, знаменитыми еще с античных времен. Минеральные ванны хорошо помогали от ревматических болей, обострившихся у Брюллова в Петербурге во время росписей в строящемся Исаакиевском соборе, но, как позднее выяснилось, вредно подействовали на нездоровое сердце...

Очевидцы рассказывали, что, наезжая время от времени в Рим, Брюллов часами простаивал перед “Страшным судом” Микеланджело в Сикстинской капелле. Тогда же, в последние месяцы своей жизни, он набросал подробные эскизы двух картин, ставших для него последними. Долгое время считалось, что обе эти работы не сохранились, и о них судили только по подробному их описанию В. В. Стасовым (в те годы — секретаря жившего во Флоренции А. Н. Демидова), много сделавшим для реконструкции последних дней великого художника.

Одна из этих картин названа Брюлловым “Всесокрушающее время”. Стасов свидетельствует:

“В самом верху ее, посреди валяющихся в пропасть гор, пирамид и обелисков — крепчайших (тщетно!) созданий человеческих, стоит Время, гигантский Микель-Анджеловский старик, с бородой до колен, как у Микель-Анджеловского Моисея. Все столкнул он с пьедесталов, со страниц жизни, весь мир со всем его прошедшим летит в реку забвения, в Лету, которой волны кончают внизу картину и в которых все должно погибнуть. Летят в вечное забвение и законодатели древности со своими скрижалями каменными <Эзоп, Ликург, Солон, Платон>... летят и поэты древности <Гомер, Пиндар, Вергилий, Данте, Петрарка, Тассо, Ариосто>... Выше поэтов несутся в бездну герои науки <Птолемей, Ньютон, Коперник, Галилей>... Падают в реку забвения религии мира; ниже всех языческие самой глубокой древности, потом Египет со своим сфинксом, перс Зороастр в пурпурном царском плаще и персидской короне, высоко поднявший над головой священный огонь в золотом жертвеннике, — он думает: не сохранит ли его в своем падении; подле Зороастра первосвященник иудейский, в своей тиаре и отчаянно держащийся за 7-свечный золотой светильник свой; недалеко от них Конфуций; с другой стороны Греция — женищина-красавица, со статуей Минервы, своей богини-охранительницы, потом Рим — яростный жрец, гневно поворотивший голову в белом покрывале с зеленым венком; над иудейским первосвященником и отчаянно хватаясь за его одежды, летит в пропасть Магомет в широко развевающейся белой одежде и зеленой

чалме; наконец, выше всех и после всех — Гус, в высоком колпаке, в котором был сожжен, Лютер с переведенной им Библией... Папа и Патриарх тоже падают в Лету... Летят в забвение Сила и Власть: прежде всего бросается в глаза посередине картины нагая фигура прекрасной женщины, поднявшей на палке красный фригийский колпак; поперек ее тела перевесилась другая гнетущая фигура — это Свобода, угнетенная Рабством. И та и другая летят в вечное забвение свое. Ниже этой группы стремительно летит Александр Македонский в шлеме и латах, со свято хранимой им Илиадой в золотом ящике; Юлий Цезарь со свитком “комментариев” — тоже в латах, но римских; выше группы Свободы летит в пропасть сибарит Сарданапал, тщетно хватющийся и желающий удержаться за валяющиеся горы... Падает в Лету и Красота с Любовью — Антоний, обнимающий последним, но вечным объятием Клеопатру свою (погибнуть вместе — это не есть ли уже спасение?). Выше их Тит, Веспасиан и Нерон с гордыми римскими головами своими. Наконец, над ними тремя и последний падет, столкнувшийся временем... — Наполеон, с венком из лавров на голове, с венком же из лавров на мече своем, но от удара ноги Времени свалился с головы его властительный венец и вместе с ним падает. Внизу всей картины, ближе всего к Лете, хотел нарисовать Брюллов себя со своей картиной, и это место для себя он только назначил общим темным пятном, с правой стороны, у самых волн Леты...”

(Уже в 80-х годах XX века исследователи творчества Брюллова, И. Бочаров и Ю. Глушакова, обнаружили эскиз “Всесокрушающего Времени” в римском архиве семьи Титтони.)

А совсем незадолго до смерти, в апреле-мае 1852 г., Брюллов делает еще один большой рисунок — “Диана на крыльях Ночи”. ...Ночь, красивая женщина, летит над Римом с лирой в руке; богиня Луны Диана тихо покоится на ее крыльях, погружаясь в сон. Внизу Брюллов изобразил подернутое сумраком римское протестантское кладбище у Монте Тестаччо рядом с пирамидой Кая Цестия — там он поставил точку, указывая место, где хотел бы быть погребенным...

Стасов: “Кажется, он <Брюллов> предчувствовал уже близость будущей смерти: направление мыслей его становилось все более и более печально, судя по тогдашним рисункам и разговорам, и в своей “Диане на крыльях Ночи”, несущейся над Римом и над римским кладбищем, где Брюллов желал, чтоб его похоронили, ему захотелось выразить свой скорый покой, которого жаждал посреди мучительной и изнуряющей болезни и к которому быстро приближался. Грация, всегдашняя спутница, не покинула его и в представлении, столь касавшемся близко его смерти, и он и здесь достиг того выражения, того впечатления на каждого зрителя, которые с первого взгляда на его произведения завоевывают ему чувства и симпатию каждого. Гармоническая звездная ночь настала для него в том Риме, который он любил всегда,

к которому стремились всегда все его мысли; и последним, предсмертным представлением его гениальной руки сделались те места, те красоты, которые сделали его счастливым еще в юности и посреди которых великолепно расцвел его талант...

23 июня 1852 г. Карл Павлович Брюллов скончался в местечке Манциана в тридцати милях от Рима. Его тело было перевезено в Рим и 26 июня похоронено по обряду протестантской церкви (к которой принадлежал Брюллов) под высокими кипарисами на “некатолическом” кладбище Тестаччо. Над могилой, находящейся рядом с центральным входом, установлено мраморное надгробие работы архитектора М. А. Шурупова. На нем выбит горельефный портрет Брюллова, скопированный с известного бюста работы И. П. Витали. Когда истек срок аренды участка, государство сделало денежный взнос, чтобы могила Карла Павловича Брюллова на римском кладбище Тестаччо сохранялась вечно.



Надгробный памятник на могиле К. П. Брюллова
на римском кладбище Тестаччо.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

84

Николай Владимирович Станкевич (27 сентября 1813, с. Удеревка, Воронежской губ. — 25 июня 1840, Нови-Лигуре, Сардинское королевство) — поэт, мыслитель, организатор и глава известного литературно-философского кружка.

После окончания словесного факультета Московского университета продолжил обучение в Германии. Во второй половине 1839 г. для лечения от туберкулеза объездил курорты Чехии, Южной Германии, Швейцарии, затем — через Симплонский перевал — приехал в Италию. В начале ноября 1839 г. через Геную и Ливорно прибыл во Флоренцию, где несколько месяцев снимал квартиру на площади Санта-Мария Новелла.

Биограф Станкевича, известный литератор П. В. Анненков писал о первых впечатлениях Станкевича от Италии:

85

“Первый взгляд на Италию не произвел на Станкевича того радостного чувства, которое произведено было более знакомым ему миром, Германией. Родовые черты Италии гораздо строже, а приготовления к принятию и разумению их у нас гораздо менее. Италия требует некоторой уступчивости, некоторой доверчивости к себе, особенно устранения укоренившихся привычек в жизни и даже в суждении; затем уже открывает она себя в величии своей простоты или отсталости, если хотите. Станкевич долго всматривался в ее повседневную жизнь, в эту смесь классических и средневековых обычаев, заключенных в строго-изящную раму, образуемую неизменной природой... Между тем пятимесячное наблюдение новой страны, с тою способностью к наблюдению, какою он обладал, не прошло даром, и когда Станкевич выехал в Рим, то письма его оттуда уже показывают совершенное родство мысли с краем, представшим ей: наблюдатель поставил себя в уровень с наблюдаемым предметом...”

Станкевич приехал в Рим из Флоренции 8 марта 1840 г. и снял квартиру в третьем этаже по адресу: Корсо, 71. В письме к своим друзьям Фроловым, оставшимся во Флоренции, Станкевич так описывал свое новое жилище, которым был очень доволен:

“Железная печка очень хорошо греет комнату, чистую, веселую и удобную. Маленький Schlaf-cabinet <спальня — нем.>, по счастью, как раз против печки, следовательно, с этой стороны я обеспечен: солнце, когда оно на небе, смотрит и сюда — не знаю, надолго ли, потому что с

моего перехода только сегодня утром нет дождя. Но, по положению и заверению хозяйки, можно надеяться всего хорошего и в этом отношении”.

По словам Анненкова, в то время, когда Станкевич приехал в Рим, “Вечный город”

“носил особенный характер и как будто создан был для того, чтобы образовать душу художника или философа. Он походил на академию, разросшуюся в большой город. У великолепных ворот его замолкал весь шум Европы, и человек невольно обращался или к прошедшему, которое встречало его на каждом шагу, или под тенью его сосредотачивался в себе самом, в собственной мысли. Современная жизнь показывалась в тогдашнем Риме одною стороною своей — стороною, обращенною к искусству. По улицам его ходили великолепные процессии, окрестности его беспрестанно наполнялись шумом тех религиозно-художественных торжеств, в которых народ выказывает так могущественно свою изобретательность и врожденное чувство изящного. Эти проявления народного творчества, вместе с отсутствием пустой роскоши, беготни за новостями и с чертами врожденной веселости, счастливо соединенной в национальном характере с какою-то степенностью, делали из обиходной жизни Рима нечто весьма непохожее на жизнь в других городах. Одно отсутствие материальных стремлений и горделивое довольство самим собой каждого его гражданина заставили некоторых мыслителей предрекать великую будущность новому Риму. Затем, если в ограде Рима

скрывались и словно пропадали для всего света многие личности, прошумевшие в Европе, то не менее было и таких, которые в нем искали необходимого приготовления к подвигам жизни и деятельности... Место, где совершается процесс этот, разумеется, значит мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европе не было города способнее Рима собрать все нравственные силы человека в один центр и, так сказать, в одну массу. Именно это и происходило со Станкевичем. Развитие его достигло конца, и мудрое, симпатическое, но спокойное созерцание мира все более и более росло и укреплялось в нем”.

Действительно, зарисовки Рима, содержащиеся в письмах Станкевича того времени, говорят о независимом и оригинальном понимании им ценностей “Вечного города”.

О Колизее: “Не знаю, каков был он в своем цвету, в первобытном виде, но, верно, не лучше, чем теперь! Я не думал много о его назначении, о народе, растерзанном зверьми в его стенах, я видел только огромную, гармоническую развалину и темно-синее небо, просвечивавшее во все ее окна. Внутренность его также хороша: я всходил на высший этаж. Ступени, на которых сидели прежде зрители, теперь обрушились, и потому не видишь больше пустого места, которое должно быть занято, чтобы здание имело значение. Кустарник растет на месте этих ступеней и делает эту развалину полною и удовлетворительною в самой себе. Внизу, на площади, где сражались гладиато-

ры, стоят теперь так называемые станции, представляющие шествие Христа на Голгофу и посредине распятия...”

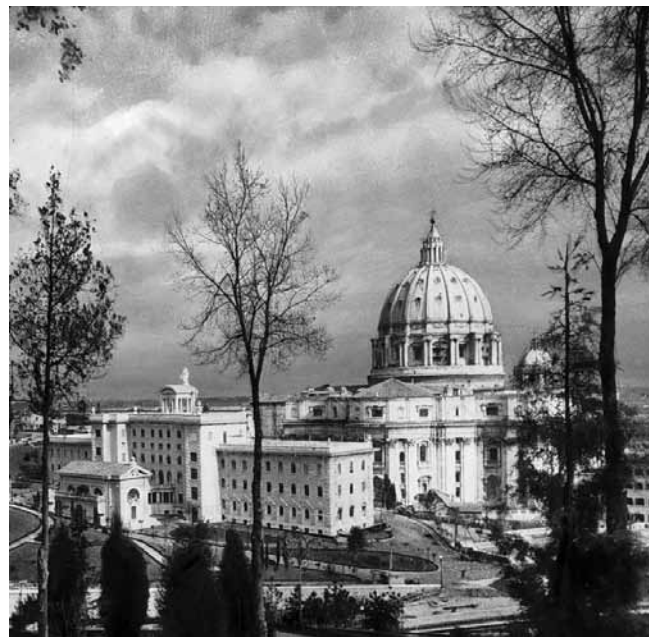
(Из письма Фроловым от 13 марта 1840 г.)

88

О Соборе св. Петра: *“Храм Петра превзошел мои ожидания: представьте громаду, которая была бы велика, как площадь, но такую стройную и гармоническую, что вы обозреваете ее одним взглядом. В церкви дышишь вольно и поднимаешь голову выше. Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу свою необыкновенностью: душа выше ее, но она довольна, когда находит себе такое жилище. Огромный купол чудесен. Мы лазили и туда; мозаики, кажущиеся снизу почти миниатюрными, колоссальны. Двор церкви, с фонтанами и обелиском — великолепен”.*

(Из письма Фроловым от 19 марта 1840 г.)

О статуе “Моисей” Микеланджело в церкви Сан-Пьетро ин Винколи: *“Я, кажется, не писал вам еще о “Моисее” Микельанджело? Что это за художник! У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукою! Эта статуя — в церкви Св. Петра. Лицо Моисея далеко от классического идеала: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро, одною рукою придерживает он бороду, которая падает до ног, другую, кажется, закон. О свободе,*



Собор Св. Петра.

89

отчетливости в исполнении и говорить нечего. Гёте, посмотрев на творение Микельанджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу и от этого в ту минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, что есть что-то уничтожительное в этой гигантской силе, но не смело ли это сказать? В его искусстве нет этой мирящей силы, которая господствует и



“Моисей” Микельанджело в церкви San-Pietro-in-Vincoli.

в греческом христианском искусстве. Он возвратился к Старому Завету; этот служитель бога ревнивого — настоящий его сюжет, богоматерь... женщина вообще — не его дело. Я готов был сказать: в его искусстве нет божества... но это несправедливо — нет всего полного, любящего. Из божества в нем осталась сила...”

(Из письма Фроловым от 5 апреля 1840 г.)

Н. В. Анненков так пишет об оригинальном способе познания Станкевичем Рима:

“Общий характер свободы, простора, данного собственной восприимчивостью, не стесняемой чужими представлениями предметов, лежит уже на всех исследованиях Станкевича в Риме. Он как будто приводит в исполнение слова, сказанные им однажды по поводу отношений между наукой об искусстве и пониманием его: “отдадим кесарю кесарево, а Божье душа узнает”.

В Риме Станкевич близко сошелся с юным Иваном Сергеевичем Тургеневым и стал его благожелательным наставником. Другим его спутником по путешествиям по Риму и окрестностям стал Александр Павлович Ефремов, товарищ по философско-литературному кружку, потом по Берлинскому университету, в будущем доктор философии и профессор географии Московского университета.

Большой радостью для Станкевича стал приезд в Рим Варвары Александровны Дьяковой (урожденной Бакуниной) — младшей сестры его рано умершей от чахотки невесты Любви Бакуниной. Варвара Дьякова тогда фактически разошлась с мужем и путешествовала по Европе с четырехлетним сыном Александром.

По причине вновь обострившейся болезни Станкевич не смог составить кампанию друзьям в их поездке в Неаполь. Вернувшиеся в Рим Дьякова и Ефремов (Тургенев прямо из Неаполя отправился через Геную в Германию) застали Станкевича чуть окрепшим и, следуя

рекомендациям врачей, решили повезти его лечиться на берега озеро Комо в Северной Италии.

В начале июня они покинули Рим и — через Флоренцию, Ливорно и Геную — направились в Ломбардию. Однако в сорока милях от Генуи, в городке Нови-Лигуре Николай Владимирович Станкевич скончался в ночь с 24 на 25 июня 1840 г.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ

93

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ (28. 07. 1806, Петербург — 15. 07. 1858, Петербург) — художник. В мае 1830 г. выехал в Рим в качестве стажера-пенсионера Общества поощрения художников. Ехал из Кронштадта морем до Штеттина, оттуда почтовой каретой через Берлин и Дрезден до Вены; далее — Тренто, Верона, Мантуя, Болонья, Флоренция. Подъезжали к Риму через многоарочный мост — Ponte Milvio (Ponte Molle) и далее по Фламиниевой дороге к Piazza del Popolo. По приезде Иванов, как было принято, представился русскому посланнику — явиться к нему непременно следовало в черном фраке, в башмаках и шелковых чулках, что составило некоторую трудность. Первоначально А. Иванов поселился на Via Sistina рядом с церковью Trinitia dei Monti и Piazza Barberini.

“Я живу на горе... Войдя с улицы Сикста, вы поднимаетесь во второй этаж; завернув налево в сад, вы по-

чувствуете аромат и увидите тучные цветущие розы, и под виноградными кистями пройдете ко мне в мастерскую, а далее — в спальню или комнату... В мастерской на главном окне стоит ширма в полтора стекла, чтобы закрыть ярко-зеленый цвет от миндаля, фиг, орехов, яблонь и от обвивающейся виноградной лозы с розанами, составляющей крышу входа моего. Во время отсутствия скорби о доме моем родительском я бываю иногда до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать: как же тут не согласиться с итальянским бездействием, которое мы привыкли называть ленью?.. Из окон с одной стороны моей унылой спальни виден другой сад, нижний; дорожки все имеют кровлею виноградные кисти, а в середине их или чудные цветы, или померанцы, апельсины, груши и т.д. Сзади сада живописной рукой выстроены дома: то угол карниза выдается из чьей-либо мастерской, то сушило, арками красующееся, то бельведер, высоко поднимающийся... С горы видна часть Рима — живописная смесь плоских крыш, куполов, обелисков, а сзади гора Св. Марии при вечно ясном небе представляет обворожительный вид..."

Еще одно окно мастерской Иванова выходило прямо на дом, где работал знаменитый датский скульптор Бертель Торвальдсен. За ним — прямая улица вела к одной из самых известных церквей Рима — Santa Maria Magiore.

Постелью в домах служили мешки, набитые жесткими кукурузными листьями. Распорядок дня Иванова

был следующий: вставал в пять утра, в семь слуга из соседнего трактира приносил кофе и хлебцы. Сразу после завтрака изучал иллюстрированные исторические труды, любезно предоставленные живущей в Риме русской княгиней Зинаидой Александровной Волконской из своей обширной библиотеки.

А. Иванов: *"Потом пишу, на расстоянии смотрю в лестное зеркало свою картину, думаю, барабаню сломанным муштабелем <подпоркой для руки> то по столу, то по своей ноге, опять пишу, что продолжается до самого полудня..."*

Затем тот же слуга разносил молодым художникам обед:

"Здесь едят гораздо менее, нежели у нас; легкий и теплый климат не терпит объедений. Рисовая каша с сыром и маслом и небольшой кусок говядины составляют обыкновенно мой обед; ужин — салат с куском жаркого".

Во второй половине дня интернациональная колония художников сходилась в популярном (и сохранившемся поныне) "Antico Caffè Greco" на Via Condotti, 86 — сюда многие годы будет адресоваться вся римская корреспонденция Иванова. Поздним вечером — прогулка на Монте Пинчио и вилле Боргезе. Иванов особенно любил слушать пение женского хора в монастыре Santa Trinita dei Monti:

"Я не могу пересказать вам, сколько блаженных мыслей рождает во мне прекраснейшее соло какой-нибудь из сестер... Из меня все тогда вы можете сделать".

В первые годы в Риме Иванов часто болел малярийной лихорадкой. Пережил он и иную — профессиональную — болезнь молодых художников в Риме: от обилия вокруг великих творений впадал в отчаяние и готов был даже бросить живопись. “Я иногда клянусь тот день, в который выехал за границу”, — писал он в Петербург. “Душевная твоя болезнь для меня кажется опаснее телесной твоей болезни”, — отвечал ему отец.

Старожилом русской колонии художников в Риме в то время был Орест Адамович Кипренский (в Риме — с 1817 г.); он взял Иванова под свою опеку, и тот навсегда сохранил к нему большое почтение. Старшим из пенсионеров был Федор Александрович Бруни, в чью мастерскую Иванов часто заходил. Самое высокое мнение было у Иванова и о работах также давно находившегося в Риме (с 1823 г.) Карла Павловича Брюллова, но между ними так и не возникло не только дружбы, но даже и профессионального товарищества. Исследователь жизни и творчества Иванова, М. В. Алпатов, писал:

“Можно представить себе, как встречались оба художника: Брюллов, окруженный свитой друзей и поклонников, остроумный, беспечный, и Иванов, обычно один, угрюмо-сосредоточенный, тревожно-суетливый... Это могло напомнить картину Ораса Верне “Встреча Рафаэля и Микеланджело на Ватиканском дворе”, в которой баловню судьбы Рафаэлю, окруженному множеством учеников и поклонников, противостоит одинокий Микеланджело с его гневным взглядом мстителя”.

Что же касается большинства других русских художников-пенсионеров, то А. Иванова коробило их праздное времяпрепровождение:

“Свобода пенсионерская, способная совершенствовать, оперить и окончить прекрасно начатого художника, теперь была обращена на совершенствование необузданностей. Некогда думать, некогда углубляться в самого себя и оттуда вызвать предмет для исполнения. Сегодня у Рамазанова просиживают ночь за вином и за картами, завтра — у Климченко, послезавтра — у Ставассера”.

Среди художников в Риме Иванов близко подружился лишь с гравером по меди Федором Ивановичем Иорданом, будущим ректором Академии художеств, живущим на втором этаже (“в бельэтаже”) дома на углу Via Sistina и сегодняшней Via Francesco Crispi (раньше этот участок улицы входил в Capo le Case). Близка была А. Иванову и группа немецких художников во главе с Иоганном-Фридрихом Овербеком. Эти художники, называвшие себя назарейцами, писали картины на религиозные темы; их кумиром в живописи был А. Дюрер.

Имея первым заданием копирование фрески Микеланджело “Адам” (“Сотворение человека”) из Сикстинской капеллы, Иванов получил наконец разрешение работать в Ватикане. Однако работа шла медленно: частые церемонии в Сикстинской капелле, требовавшие всякий раз уборки установленных художником высоких лесов, тормозили дело. Свободное время Иванов по-

свящал написанию картины “Аполлон, Кипарис и Гиацинт, занимающиеся музыкой и пением”. Видевшие ее римские мэтры Винченцо Каммучини (ректор Академии Сан-Лука) и датский скульптор Бертель Торвальдсен давали свои советы. Видимо, в 1832 г. Иванову впервые пришла мысль о большой картине на библейскую тему — об этом говорят отрывочные заметки в письмах и записных книжках:

“Занялся я отысканием для себя сюжета: прислушивался к истории каждого народа, прославившего себя деяниями...”

Сообщая о результатах этих поисков Обществу поощрения художников, Иванов писал, что решил остановиться на первом появлении Христа, “откровением коего начался день человечества, нравственного совершенства...”.

А. Иванов: *“Прекрасный сюжет, когда Иоанн бросился порицать фарисеев и книжников при всем народе. Смятение этих подлецов, удивление народа твердости Иоанна и воспламенение его духом целого общества... Нужно представить в моей картине лица разных сословий, разных безутешных, вследствие разврата и угнетения от... светских правительственных лиц, вследствие подлостей, какие делали сами цари иудейские, подласкиваясь к римлянам, чтобы снискать подтверждения своего на троне... Страх и робость от римлян и проглядывающее горестное чувство, желание свободы и независимости...”*

Для работы над “Явлением Мессии” Иванов долгое время добивался разрешения на поездку в Палестину, но после того как в этом было отказано, стал больше путешествовать по самой Италии: в 1834 г. объехал Болонью, Феррару, Венецию, Падую, Виченцу, Верону, Брешию, Бергамо, Милан, Парму. Часто посещал он и римское еврейское гетто, где делал наброски человеческих типов. В 1835 г. появляются первые эскизы “Явления Христа народу”.

В качестве подготовки для грандиозного труда Иванов написал в 1834-1835 гг. большую картину “Явление Христа Марии Магдалине после воскресения”. Картина была выставлена в мастерской художника, затем в Капитолии, позже отослана в Петербург, где Общество поощрения художников преподнесло ее государю. За эту работу Иванову было присвоено звание действительного члена Академии художеств — он отреагировал с присущей ему скромностью:

“Как жаль, что меня сделали академиком; мое намерение было никогда никакого не иметь чина...”

После отъезда К. Брюллова и Ф. Бруни в Петербург и смерти О. Кипренского Иванов оказался на правах старшего в русской колонии художников. В 1837 г. он совершил новую поездку в Ассизи, Орвиетто, Ливорно, Флоренцию и другие города Тосканы; годом позже посетил Милан и Венецию. С 1837 г. А. Иванов живет и работает в Риме в квартире-мастерской по адресу: Vicolo del Vantaggio, № 5, недалеко от Piazza del Popolo и набережной



Дом на Vicolo del Vantaggio, № 5. Здесь располагалась мастерская, где с 1837 по 1858 г. А. А. Иванов работал над картиной “Явление Христа народу”.

Тибра (сегодня на фасаде дома установлена мемориальная доска).

В 1838 г. Иванов впервые познакомился в Риме с Николаем Васильевичем Гоголем, который жил неподалеку — на Strada Felice, № 126 (теперь Via Sistina); с того времени и многие годы они будут очень близки и почти



Мемориальная доска на фасаде дома на Vicolo del Vantaggio, № 5.

ежедневно будут встречаться в популярном в квартале художников “Caffe Greco” у Испанской лестницы и трактире “Falcon” недалеко от Пантеона.

Александр Иванов, которого Гоголь звал “il carissimo <дражайшим> signore Alessandro”, стал прототипом Писателя во второй редакции гоголевского “Портрета”.

Позднее Гоголь посвятит другу-художнику очерк “Исторический живописец Иванов”, вошедший в состав “Выбранных мест из переписки с друзьями”. Именно Гоголь натолкнул Иванова на мысль заняться изображением сцен уличной жизни Рима. В конце 30-х — начале 40-х годов появляется целый ряд таких акварелей: “Жених, выбирающий серьги для невесты” (1838); “Ave Maria” (1839), где изображено характерное для тогдашнего Рима пение по вечерам молитв на улицах перед образом Мадонны; серия рисунков 1842 г., изображающих эпизоды октябрьского праздника в Риме — “Сцена в лоджии”, “У Монте Тестаччо”, “У Понте Молле”. Иванов сделал два портрета Гоголя масляными красками; один из них Гоголь подарил Жуковскому, другой — Погодину. Гоголь часто водил в мастерскую Иванова в переулок Вантаджио своих друзей, приезжающих из России. Один из них, М. П. Погодин, оставил воспоминания:

“25 марта 1839 года Гоголь повел нас в студию русского художника Иванова — это новое для нас зрелище. Мы увидели в комнате Иванова ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который точно дает знать о принадлежности своей художнику. Стены исписаны разными фигурами, которые мелом, которые углем; вот группа, вот целый эскиз. Там висит прекрасный дорогой эстамп; здесь приклеен или прилеплен какой-то очерк. В одном углу на полу валяется всякая рухлядь, в другом — исчерченные картины. В середине господствует на огромных подставках картина, над которой трудится художник.

Сам он в простой холстинной блузе, с длинными волосами, которых он не стриг, кажется, года два, с палитрой в одной руке, с кистью в другой, стоит одинехонек перед нею, погруженный в размышление. Вокруг него по всем сторонам лежит несколько картонов с его корректурами, т. е. с разными опытами представить то или другое лицо, разместить фигуры так или иначе. Повторяю: это явление было для нас совершенно ново и разительно...”

В декабре 1839 г. Рим посетил наследник русского престола, цесаревич Александр Николаевич — будущий император Александр II. Русские художники, и среди них Иванов, принимали его в своих мастерских. Для этого, по воспоминаниям Иванова, все они вынуждены были сбрить усы и бороды и сменить “полуразбойничье платье”. Цесаревич явно выделил Иванова из общего числа русских художников и позднее помогал с субсидиями на продолжение его работы.

Болезнь глаз заставляла А. Иванова периодически останавливать работу над “Явлением Мессии” и ездить лечиться во флорентийские или австрийские клиники. Однако при первой возможности Иванов восстанавливает прежний распорядок дня: подъем в пять, работа до двенадцати, двухчасовой перерыв и далее опять работа до наступления глубоких сумерек.

Материальное положение А. А. Иванова в Риме в 40-е годы было весьма тяжелым. Поля многих его рисунков испещрены столбиками цифр домашних расходов. Собственно, траты его на себя были небольшими: комнату в

Риме можно было нанять всего лишь за пять-шесть скудо в месяц (скудо равнялся тогда полутора русским серебряным рублям). Обед обходился в шестьдесят — семьдесят скудо в месяц. Но основные траты шли на самую работу. Огромная студия на Вантаджио стоила Иванову 1200 рублей в год. Дороги были и натурщики: Иванов ставил сразу по несколько натурщиков (“ансамбли”), и каждый из натурщиков стоил до пяти рублей в день. Таким образом, работа над “Явлением Христа народу” стоила А. Иванову до трех тысяч рублей в год. Биограф художника, М. А. Алпатов, писал:

“В старых римских дворцах, где помещались банкирские конторы Торлония и Валентини, можно было часто видеть странную фигуру русского живописца в черной крылатке и в широкой, надвинутой на уши шляпе, который по многу раз безуспешно наведывался о денежных переводах, а когда они наконец приходили, огорченно разводил руками, так как вместо ожидаемой суммы присылалась только ее малая частица, которой едва хватало на покрытие долгов”.

В 1844 г. в Рим приехал архитектор Константин Андреевич Тон, которому император поручил руководить строительством храма Христа Спасителя в Москве. Одно время Тон собирался поручить Иванову создание огромного запрестольного образа на тему Воскресения, и художник, сильно нуждавшийся в средствах, принял за написание эскизов. От общего же проекта храма Иванов никогда не был в восторге: “Строят какой-то ко-

лоссальный шкап...” Вскоре, однако, заказ был передан К. Брюллову, а Иванову предложили выполнить эскизы для фигур евангелистов в медальонах храма. Многие друзья, в том числе Гоголь, Чижов, Моллер, советовали Иванову согласиться хотя бы из материальных соображений. Однако Иванов, вообще не любивший казенную живопись, отказался. Вспоминая позже об этом деле, он почти с брезгливостью писал, что его “чуть было не сманили”.

В конце 1845 г. студию художника посетил император Николай I и вроде бы остался доволен его работой. А весной 1846 г. в Рим приехал брат Иванова — Сергей, пенсионер Академии художеств по архитектуре. Он работал в той же квартире-мастерской в переулке Вантаджио. Обедали братья обычно вместе в том же трактире “Falcon”; по воскресеньям вместе осматривали римские древности.

Всю первую половину 1846 г. А. Иванов неизменно проводил вечера у Гоголя в его квартире на четвертом этаже в доме на углу Via della Croce и Via Mario de Fiori, известном в Риме как палаццо Понятовского (дом сохранился). Примерно в те же месяцы Иванов окончательно запер свою студию от посторонних. Единственным исключением был Гоголь, который активно участвовал в обсуждении композиции и деталей “Явления Мессии”. Известно, например, что Гоголь советовал Иванову заменить фигуру раба на другой вариант — с бритой головой, с клеймом на лбу, с кривым глазом, с веревкой,

завязанной узлом на шее. Но Сергей Иванов уговорил брата остановиться на том варианте, который и стал окончательным. В свою очередь, есть версия, что Иванов изобразил на своей картине самого Гоголя — это фигура “ближайшего к Христу” в красном плаще в правом верхнем углу картины.

В самом конце 1847 г. Иванов знакомится с Александром Ивановичем Герценом, который приехал в становящуюся все более революционной Италию и поселился в Риме на Corso. Герцен вспоминал о встречах с А. Ивановым в 1848 г.:

“Настал громовый 1848 год. Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его, я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее, иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились”.

Настороженно отнесся Иванов и к провозглашению в феврале 1849 г. Римской республики во главе с Мадзини, Гарибальди, Саффи, Армелини. О своих настроениях Иванов откровенно писал Гоголю в мае 1849 г.:

“Каждый день ожидаешь тревоги. Люди, теперь здесь во главе стоящие, грозятся все зажечь и погребсти себя под пеплом. При таких условиях, конечно, уже невозможно продолжать дело, требующее глубоко сосредоточенного спокойствия. Я, однако ж, креплюсь в перенесении

столь великого несчастья, и только что будет возможно, то опять примусь за окончание моей картины”.

В те месяцы Иванов еще более уединяется в своей мастерской. В 1851 г. он в очередной раз пишет Гоголю:

“Вы спрашиваете о моей жизни вне студии. Вне студии я довольно несчастен, и если бы не студия, то давно был бы убит... Я почти ни с кем не знаком и даже почти оставил и прежних знакомых. Я, так сказать, ежедневно боюсь между двумя мыслями: искать знакомства или бежать от него? И, вися в середине, кое-как разговариваю с людьми, всегда имея к ним всевозможную снисходительность и ища их расположения, как необходимости для меня же. Как ни странно это положение, но вместе и утешительно; никогда я не был так наблюдателен, как теперь”.

В письмах Иванова тех лет все чаще звучат нотки отчаяния. “Чувствую лавину”, — признается он, а свои страдания сравнивает с Голгофой. “Я теперь гляжу на жизнь как на каторжную работу”, — пишет он в другом письме. Даже ночью его тревожат кошмарные сновидения: он видит во сне, как возвращается в Петербург, так и не окончив картины. В титанической работе по завершению “Явления Христа народу” проходит еще несколько лет. Молодой литератор П. М. Ковалевский, познакомившийся с Ивановым в 1856 г., описал его:

“Это был человек одичалый, вздрагивающий при появлении всякого нового лица, раскланивавшийся очень усердно с прислугой, которую принимал за хозяев, — человек с

движениями живыми и глазами бегавшими, хотя постоянно потупленными в землю”.

В первый раз после большого перерыва А. Иванов открыл свою студию в 1857 г. для вдовствующей императрицы Александры Федоровны, которая была восхищена картиной и дала денег для нового лечения глаз — благодаря этой помощи Иванов смог посетить известные клиники в Вене и Интерлакене. После этого мастерская была открыта для публики. “Кто мог бы подумать, Иванов нас надул!” — воскликнул при виде картины глава римской группы “назарейцев”, немецкий художник И.-Ф. Овербек, когда-то видевший робкое начинание и теперь пораженный грандиозностью результата.

Картина А. А. Иванова “Явление Христа народу” произвела в Риме большое впечатление; в мастерскую на Вантаджио началось буквально паломничество — художников-коллег, римских сановников, праздных туристов... В конце 1857 г. мастерскую Иванова посетил проводивший ту зиму в Риме писатель Иван Сергеевич Тургенев, с которым они подружились. Тургенев потом писал П. Анненкову:

“Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее 25 лет своей жизни... Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и “все” дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую расейскую замашку. Не-

вежество их всех губит. Иванов — тот, напротив, замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся: 25-летнее одиночество взяло свое. Не забуду я (но это непременно между нами), как он, во время поездки в Альбано, вдруг начал уверять Боткина и меня — весь побледневши и с принужденным хохотом, — что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и т. д. Мы очень часто с ним видимся; он, кажется, расположен к нам”.

В 1858 г. после двадцативосьмилетнего отсутствия Александр Андреевич Иванов возвратился в Россию. В официальных кругах картину встретили довольно холодно, придав ей гораздо меньшее значение, чем “Последнему дню Помпеи” Карла Брюллова или “Медному змию” Федора Бруни. Иванов сильно переживал, в те дни заразился холерой и, проболев неделю, скончался в Петербурге 15 июля 1858 г., пробыв на родине немногим более месяца.

Брат А. А. Иванова, Сергей Андреевич Иванов, скончался в Риме в 1877 г. и был похоронен на кладбище для иностранцев Тестаццо.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

110

Николай Васильевич Гоголь (1.04.1809, Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губ. — 21.02.1852, Москва) — писатель. Впервые приехал в Рим 26 марта 1837 г. для продолжения работы над начатыми в швейцарском городке Ве́ве, а потом в Париже “Мертвыми душами”. Вместе со своим другом Иваном Федоровичем Золотаревым, выпускником Дерптского университета, Гоголь снял две комнаты у домовладельца Джованни Мазуччи по адресу: Via di San Isidoro, № 16. (В этом же квартале у того же хозяина снимали ранее комнаты другие знаменитые русские — художник Орест Кипренский, скульптор Самуил Гальберг и т.д.) В письме другу детства и юности Александру Семеновичу Данилевскому, которого Гоголь ждал в Риме, он подробно описал, как его разыскать:

111

*“Прежде всего найди церковь святого Исидора, а это вот каким образом сделаешь. Из Piazza di Spagna подымись по лестнице на самый верх и возьми направо. Направо будут две улицы; ты возьми вторую; этой улицею ты дойдешь до Piazza Barberia. На эту площадь выходит одна улица с бульваром. По этой улице ты пойдешь все вверх, покамест не упрешься в самого Исидора, который ее и замыкает; тогда поверни налево. Против самого Исидора есть дом №16, с надписью над воротами: *Appartement meublé* <меблированные комнаты — фр.>. В этом доме живу я...”*

В данном описании легко узнаются и Испанская лестница, и идущая направо от церкви Тринита деи Монти улица Систина (еще правее остается улица Григориана), и площадь Барберини. Во времена Гоголя Via San Isidoro начиналась сразу от площади Барберини и проходила через не существующую сегодня площадь Капуцинов; позднее ее начальная часть (та самая “улица с бульваром”) вошла в проложенную сравнительно недавно Via Veneto. Улицу San Isidoro многократно перестраивали — сегодня большую ее часть составляет крутая лестница к старому монастырю. Дом напротив Св. Исидора, где весной 1837 года Гоголь написал две первые главы “Мертвых душ”, сохранился, хотя и в перестроенном виде. Сегодня на территории старого монастыря расположен Ирландский францисканский колледж, а приходская церковь перенесена внутрь дома, где и жил когда-то Гоголь.



Вид монастыря Сан-Исидоро (рисунок середины XIX в.).
Справа, прямо напротив фасада церкви — двухэтажный
дом, где весной 1837 г. Н. В. Гоголь написал первые
две главы «Мертвых душ».

По мнению И. Золотарева, жизнь на Via San Isidoro была лучшей порой в жизни Гоголя: веселый, разговорчивый, он был охвачен красотой римской природы и великолепных памятников искусства, которыми был окружен. До какой степени Гоголь был тогда увлечен Римом, свидетельствует один эпизод весны 1837 г., рассказанный Золотаревым:

“Первое время, от новости ли впечатлений, от переутомления дорогой, я совершенно лишился сна. Пожаловался я на это как-то Гоголю. Вместо сочувствия к моему тяжелому положению он пришел в восторг. “Как ты счастлив, Иван, — воскликнул он, — что не можешь спать!.. Твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя. И после этого ты еще не будешь себя считать счастливым!” Убеждать в действительной причине моей бессонницы великого энтузиаста, целые дни без отдыха проводившего в созерцании римской природы и памятников вечного города, я счел бесполезным”.

Через несколько лет Гоголь сам будет страдать в Риме бессонницей. Но причина ее будет иной: по свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь, переживший тяжелейшую болезнь, потеряет сон, мучимый страхом внезапной смерти. Пока же, весной 1837 г., Гоголь писал о своих первых римских впечатлениях Данилевскому:

“Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, как будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее не идет... Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить”.

Еще во Франции Гоголь узнал о гибели Пушкина, но эта трагедия, ставшая для него личной, не оставляет его и в Риме.

“Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему, — писал он из Рима М. П. Погодину. — И теперешний труд мой <“Мертвые души”> есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине!.. Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей — никогда. Мои страдания тебе не могут быть вполне понятны. Ты в пристани,



Церковь Сан-Исидоро. Слева — первый римский дом Гоголя (современное фото).

ты, как мудрец, можешь перенести и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и опираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы. Сложить мне голову свою не на родине...”

Между тем очень скоро дали о себе знать материальные трудности.

“Сижу без денег, — писал Гоголь Данилевскому. — Я приехал в Рим только с двумястами франками, и если бы не страшная дешевизна и удаление всего, что вытряхивает кошелек, то их бы давно уже не было. За комнату, то есть старую залу с картинами и статуями, я плачу тридцать франков в месяц, и это только одно дорого. Прочее все ничто. Если выпью поутру один стакан шоколаду, то плачу немножко больше четырех су, с хлебом, со всем. Блюда за обедом очень хороши и свежи, и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4; а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не та дрянь, которую мы едали у Тортони... Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (почти су) передам, то весь день жалко...”

В какой-то момент отсутствие денег (на фоне относительного благополучия окружающих его русских художников-стажеров) заставляет Гоголя просить помощи у Василия Андреевича Жуковского, близкого к императору Николаю:

“Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин... Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтобы она была долговечна; а между тем я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, из которых иные рисуют хуже моего: они все



Дом на углу Via San Isidoro и Via degli Artisti — первое римское жилище Гоголя (современное фото).

получают по три тысячи в год. Поди я в актеры — я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель — и потому должен умереть с голоду... Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви,

то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»...

118

По протекции Жуковского Николай I удовлетворил просьбу Гоголя и пожаловал ему пять тысяч рублей.

Наслышанный о римской летней жаре (“собаки кричат, бродя по улицам”), Гоголь в июне 1837 г. уезжает из Рима на немецкие и швейцарские курорты — принимать ванны и пить холодные минеральные воды для лечения желудочной болезни, мучившей его всю жизнь. Однако он скучает по Риму, о чем пишет буквально в каждом письме родным и друзьям:

“Я почти с грустью расставался с Италией. Мне жалко было на месяц оставить Рим. И когда при въезде в северную Италию на место кипарисов и куполовидных римских сосен увидела тополи, мне сделалось как-то тяжело. Тополи стройные, высокие, которыми я восхищался бы прежде непременно, теперь показались мне пошлыми... Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи “прости” другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю” (из Баден-Бадена); “Я соскучился страшно без Рима. Там только я был совершенно спокоен, здоров и мог предаваться моим занятиям. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми, все пахнет севером после нее...” (из Женевы).

В октябре 1837 г. Гоголь возвращается из Швейцарии в Рим.

“Наконец я вырвался, — писал он Жуковскому. — Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедре, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине... Как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и впился в ее роскошные красоты. Она заменила мне все. Гляжу, как иступленный, на все и не нагляжусь до сих пор. Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо, и я восхищался ими даже, может быть, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию. Но теперь, когда я бывал в них после Италии, низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами, и мне кажется, как будто я был в Олонецкой губернии и слышал медвежье дыхание северного океана”.

119

На этот раз Гоголь поселяется в трех небольших комнатах по адресу: Strada Felice, № 126, третий этаж. Эту улицу прорубили среди виноградников в конце XVI в. по распоряжению Папы Сикста V и застроили очень быстро, ибо по высочайшему указу новым домовладельцам предоставлялись большие льготы. Дом Гоголя, где он подолгу жил и работал в 1837–1842 гг., сохранился, хотя улица теперь называется Via Sistina. (В 1901 г. рус-

ская колония в Риме установила на этом доме мраморную мемориальную доску.)

Третий (тогда — последний) этаж дома № 126 по улице Феличе принадлежал некоему синьору Джузеппе Челли; его служанка Нанна прислуживала и Гоголю — ее неряшливость и простота обращения с Гоголем шокировали приезжавших из России гостей. Дом в целом принадлежал синьору Паоло Кочча — он сдавал его поэтажно, а арендаторы этажей уже сдавали квартиры жильцам. Внизу перед входом в дом находилось небольшое стойло для ослов, пронзительный крик которых нередко будил Гоголя. Позднее литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, некоторое время проживший в соседней с Гоголем комнате, описал жилище Гоголя на Страда Феличе, 126:

“Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван рядом с книжным шкафом занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь... У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро — стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым же-

лобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц...”

В 30-е годы в Риме обосновалась группа русских художников, командированных туда Академией художеств. Гоголь сблизился с некоторыми из них, особенно с Александром Андреевичем Ивановым, Федором Антоновичем Моллером и Федором Ивановичем Иорданом. Художник-гравер Ф. И. Иордан, будущий ректор Российской Академии художеств, живший совсем рядом с Гоголем (на перекрестке Via Felice и Capo le Case), вспоминал о встречах с Гоголем в Риме в то время:

“В Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников. К этому кружку принадлежали Иванов, Моллер и я; центром же и душою всего был Гоголь, которого мы все уважали и любили. Иванов к Гоголю относился не только с еще большим почтением, чем мы все, но даже (особенно в тридцатых и в сороковых годах) с каким-то подобострастием. Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя, по итальянскому выражению, “alle ventitre” (в 23-м часу, т. е. около 7? часов вечера), обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до девяти или до десяти с половиной — не дольше, потому что для своей работы мы все вставали рано, значит, и ложились не поздно. В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал”.

В Риме Гоголь попадает и в круг княгини Зинаиды Александровны Волконской, часто посещает апартаменты Волконской в палаццо Поли у фонтана Треви, а также виллу Волконской недалеко от базилики San Giovanni in Laterano (сегодня здесь расположена резиденция посла Великобритании). П. Анненков свидетельствует:

“На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он <Гоголь> ложился спиной на аркаду “тогатых”, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанию”.

Польские католические ксендзы П. Семененко и И. Кайсевич из близкого окружения Волконской (участники польского восстания 1830–1831 гг., с подложными паспортами прибывшие в Рим) склоняли Гоголя к обращению в католичество, однако безуспешно.

Зиму и весну 1838 г. Гоголь полностью посвящает работе над “Мертвыми душами”. Среди любимых гоголевских заведений в Риме — “Antico Caffè Greco” на улице Кондотти, № 86 (это популярное среди русских кафе, в котором бывали также Гете, Байрон, Стендаль, Мицкевич, Бизе, Гуно, Теккерей и др., сохранилось), кофейня “Del buon gusto” (“Хороший вкус”) на углу Испанской площади и Via Carozze, а также trattoria “Lepre” (на той же Via Condotti, в доме № 11) и “Falcon” (на площади Сан-Эустакио недалеко от Пантеона). О своих гастрономических привычках Гоголь писал одному из друзей:



“Кафе Греко” на Via Condotti — место встреч русских художников и писателей в Риме (рисунок XIX в.).

“Ты спрашиваешь, что я такое завтракаю. Вообрази, что ничего. Никакого не имею аппетита по утрам... Пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе Anglais, с маслом и прочими атрибутами. Обедаю же я не в Лепре, где не всегда бывает самый отличный материал, но у Фалькона, — знаешь,

что у Пантеона? где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сытна, а какая-то crostata с вишнями способна произвести на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала”.

Благосклонно относился Гоголь и к местным винам, называя их в шутку “добрыми распорядителями желудка”, “квартальными”, “городничими”. Одним из любимых Гоголем напитков было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому, который всегда носил с собой во фляжке; эту стряпню он называл “гоголь-моголем”.

И. Золотарев, который жил с Гоголем в 1837–1838 гг., вспоминал о необычайном аппетите своего друга, разыгрывающемся ближе к вечеру:

“Бывало, зайдем мы в какую-нибудь трапторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое”.

Были у Гоголя и другие “странности” — к примеру, страсть к рукоделию. В холодные, пасмурные дни он любил вязать на спицах, а с приближением лета, как свидетельствует П. Анненков, вдруг принимался выкраивать для себя легкие платки из кисеи и батиста, удлинять жилеты и т. п. М. Погодин, много путешествовавший с Гоголем, заметил также, что тот крайне неохотно показывал на границах свой паспорт. Даже если паспорт

лежал в кармане, он непременно вступал в перебранку с пограничным чиновником, а если паспорта близко не оказывалось, то, по словам Погодина, “он начнет беситься, рытаться, не находя его нигде, бросать все, что попадает под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь его и проч., да и назад взять не хочет”.

Из всех римских сезонов Гоголь особенно полюбил весну.

“Что за воздух! — писал он своей бывшей ученице Марии Петровне Балабиной весной 1838 г. — Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Удивительная весна! Гляжу, не нагляжусь. Розы усытали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиной в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны”.

В 1837–1838 гг. Гоголь много путешествовал по маленьким городкам в окрестностях Рима — зачастую там рождались целые главы “Мертвых душ”.

“Ехал я раз между городками Джансано и Альбано. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и

слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том “Мертвых душ”, и эта тетрадь со мной не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, мне захотелось писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением”.

Лето 1838 г. Гоголь провел по приглашению княжны В. Н. Репниной-Волконской на вилле в Каstellамаре (к югу от Неаполя), а также в самом Неаполе, который в ту поездку сильно разочаровал Гоголя.

“Неаполь не тот, каким я думал найти его, — писал он Данилевскому. — Нет, Рим лучше. Здесь душно, пыльно, нечисто. Рим кажется Парижем против Неаполя, кажется щеголем. Кафе римские, магазины и парикмахерские великолепны против неаполитанских. Итальянцев здесь нельзя узнать; нужно прибегать к палке, — хуже, чем у нас на Руси”.

Из Неаполя Гоголь едет в Париж, откуда через Лион, Марсель и Геную в конце октября возвращается в Рим, с которым уже сроднился.

“В Риме шумно более, нежели сколько бы желалось, — пишет он Балабиной в ноябре. — Форестьеров <ино-

странцев> гибель. Русских, английшей, французов — хоть метлой мети. Это скучно. Вы знаете сами, что это скучно. Рим мне кажется теперь похожим на дом, в котором мы провели когда-то лучшее время нашей жизни и в который теперь приезжаем и находим, что дом продан; из окон выглядывают какие-то глупые лица новых хозяев... словом, грустно”.

Примерно в то же время Гоголь писал Репниной-Волконской:

“Сколько у вас в Пизе англичан, столько у нас в Риме русских. Все они, по обыкновению, очень бранят Рим за то, что в нем нет отелей и магазинов, таких как в Париже, и кардиналы не дают балов...”

Гоголь относился к большинству знатных путешественников из России с нескрываемым отвращением. “От них несет казармой”, — говорил он. Ему претило, когда для того, чтобы выдать себя за людей культурных, они повторяли в Риме на каждом шагу “как это величаво!” и в конце концов превращались в “сплошной восклицательный знак”. Одно время ходил слух, что после походов Чичикова Гоголь собирался писать роман в форме записок путешествующего по Европе отставного генерала.

Действительно, в конце 1838 г. в Рим приехало много русских — в Италии решил провести зиму наследник российского престола, двадцатилетний цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II). Гоголь писал Данилевскому:

“Я живу, как ты, верно, знаешь, в том же доме и той же улице, via Felice, №126. Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узенькими рыженькими бородками и те же козлы, тоже с узенькими бородками; те же разговоры, и о том же говорят, высунувшись из окон, мои соседи... Теперь начался карнавал. Шумно, весело. Наш его высочество доволен чрезвычайно и, разъезжая в блузах вместе со свитой, бросает муку в народ корзинами и мешками и во что ни попало”.

Среди знакомых Гоголя в Риме в то время были В. А. Жуковский и М. П. Погодин, которым он с удовольствием показывал Рим, водил по мастерским русских художников — и первым делом к своему другу Александру Иванову. В те месяцы Гоголь близко познакомился и с молодым графом Иосифом Михайловичем Виельгорским, чья ранняя смерть весной 1839 г. стала самым большим потрясением для Гоголя после гибели Пушкина.

Летом 1839 г. Гоголь — в Вене и Мариенбаде, но продолжает скучать по Риму:

“О Рим, Рим! Мне кажется, пять лет я в тебе не был. Кроме Рима, нет Рима на свете. Хотел было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость...”

Проведя затем несколько месяцев в России, Гоголь в начале лета 1840 г. вместе с молодым писателем-славянофилом Василием Алексеевичем Пановым выехал в Италию, но в Вене серьезно заболел и, по мнению окружающих, несколько дней находился на грани жизни и

смерти. Свой диагноз Гоголь описывал так: “желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв; к этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания”. Слегка поправившись, Гоголь писал в Рим своему другу художнику А. А. Иванову:

*“Теперь сижу в Вене. Пью воды, а в конце августа или в начале сентября буду в Рим, увижу Вас, побредем к Фалькону есть *Vacchio arosto* <жареная баранина> или *girato* <баранина на вертеле> и осушим фольету *Asciuto* <бутыл белого вина>, и настанет вновь райская жизнь...”*

Похоже, что именно та серьезная болезнь лета 1840 г. сильно повлияла на самоощущение Гоголя и — в определенном смысле — на его отношение к Риму. Эта перемена (от пылкой любви 30-х годов — к едва ли не отчужденности конца 40-х) была поначалу не столь заметной, но ее симптомы уже видны, например, в письме Погодину, где Гоголь пишет о болезни в Вене и очередном приезде в Рим:

“Умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию... О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какую бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку. Чем дольше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров. Но мне всего дороги



Площадь Барберини с фонтаном “Тритон”
(рисунок начала XIX в.).

до Рима было три дни только. Тут мало было перемен воздуха... Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот все мне хотелось бро-

ситься или в дилижанс, или хоть на перекладную. Двух минут я не мог просидеть в комнатке, мне так сделалось тяжело, и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя...”

Прибыв в Рим 25 сентября 1840 г. вместе с В. А. Пановым и медиком Н. П. Боткиным (братом В. П. Боткина), Гоголь снова поселился на виа Феличе, где продолжил работу над “Мертвыми душами”. В мае 1841 г. приехавший в Рим П. В. Анненков поселился в соседней с Гоголем комнате (где до него жил Панов) и под диктовку Гоголя начал переписку первых шести глав поэмы. Анненков оставил подробные мемуары о тех днях:

“Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были открыты, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской “Мертвых душ”. Остальное время мы жили розно и каждый по-своему... Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько

скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: “Вы этого не можете понять, — говорил он, — это так: я себя знаю”. При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы — никогда не подвергаться испарине. “Я горю, но не потею”, — говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставлял я его в кофейне “*Del buon gusto*” <на Испанской площади>, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасти происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условленного часа, когда положено было сходитьсь домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома “*Мертвых душ*” приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета... После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею

окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно... Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижимый, острый взгляд, который был ему свойственен...”

Обедали Гоголь и Анненков, как правило, в трактире “Лепре” на Via Condotti (по словам знатока Рима А. Валадье, в меню этой трагтории во времена Гоголя значилось 72 вида супов и 543 блюда и закуски, не считая десертов).

Анненков: “Между тем время было обеденное. Он <Гоголь> повел меня в известную историческую астерию под фирмой *Lepre* (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принципе <князья>, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготавливаются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, — меняется только зелень по временам года. Простота, общезительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то пере-

варенным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменил блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностраница), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии... Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпавшим строгими выговорами и укоризнами..."

Позднее В. Ф. Чижов в своих мемуарах дополнил эти свидетельства описанием походов Гоголя в другую остерию — к Фалькону (около Пантеона):

"Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: "Нельзя отпереть". Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает..."

Весной 1841 г. Гоголь и Анненков совершали также загородные прогулки, например, в любимое Гоголем местечко Тиволи под Римом, с его холмами, водяны-

ми каскадами, развалинами вилл Адриана и Мецената, средневековой виллой кардинала д'Эсте.

Анненков: "Он <Гоголь> садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижимые глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижимым целые часы, с воспаленными щеками".

По вечерам они часто ходили на театральные спектакли заезжей труппы, дававшей комедии Карло Гольдони и Альберто Нота. Спектакли начинались обыкновенно в десять часов вечера и кончались за полночь. Анненков вспоминал:

"Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложился спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевających мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако ж, что удушливый сирокко, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой,

тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере”.

Бывало, однако, что, “наскучив прогулками и театрами”, Гоголь вместе с Анненковым и художником Александром Ивановым проводили вечера дома — за биллардом (который Гоголь установил в одной из комнат) или картами, играя в некий “бостон”, придуманный самим Гоголем.

Анненков: “Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице; он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучшее всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство

напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку орвиетто, захваченную кем-нибудь по дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменяющий, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку...”

В августе 1841 г. Гоголь выехал в Германию, а затем в Россию. Летом 1842 г. увидел свет первый том “Мертвых душ”, а еще ранее — в феврале — Гоголь закончил повесть “Рим”, которую прочел сначала у Аксаковых, а потом на литературном вечере у московского военного губернатора, князя Д. В. Голицына (повесть была опубликована в третьем номере журнала “Москвитянин” за 1842 г.).

Гоголь вернулся в Рим 4 октября 1842 г. вместе с потом Николаем Михайловичем Языковым. Несколько дней они прожили в отеле “Россия” на Via Babuino рядом с Piazza del Popolo, а затем переселились в уже известный дом на виа Феличе, где Языкову вместе с его слугой нашлись две комнаты на втором этаже (“в бельэтаже”). Дом к тому времени уже был надстроен, и на четвертом этаже вскоре поселился еще один русский литератор — Федор Васильевич Чижев, оставивший любопытные воспоминания:

“Расставшись с Гоголем в университете <они в одно время были адъюнктами Петербургского университета>, мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме, на via Felice, №126. Во втором этаже жил покойный Языков, в третьем Гоголь, в



Мемориальная доска на доме № 126 по Via Sistina.
Здесь в 1838-1842 гг. жил Н. В. Гоголь.

четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно... В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире... Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, — Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обык-

новенно кто-нибудь из нас троих — чаще всего Иванов — приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка Алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина... Однажды мы собрались, по обыкновению у Языкова. Языков, больной, молча сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его: — Вот, — говорит, — с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе господнем. И после, когда уже нам казалось, что пора расходиться, он всегда приговаривал: — Что, господа? Не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?"

Русский художник-гравер Ф. И. Иордан, также часто встречавшийся с Гоголем в 1843-м, подтверждает:

"Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бывало, он в целый вечер не промолвит не единого слова. Сидит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карманы шаровар, и молчит..."

В те месяцы нарастают религиозные настроения Гоголя. Он все более погружается в чтение богословской литературы, а свою работу над "Мертвыми душами" воспринимает как "предназначенье свыше", как некую "миссию":

"Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными

слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушение не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!” (Письмо С. Аксакову); “Часто душа моя так бывает тверда, что, кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их называли огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастья, ниспосылаемые человеку. Они хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосылаемые мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя” (Письмо Н. Шереметевой).

Тем не менее в это время Гоголь стремится быть в курсе полемики, развернувшейся в России по поводу “Мертвых душ”, активно занимается литературно-издательскими делами — подготовкой в Петербурге издания четырехтомника своих сочинений, пересылает Прокоповичу переделанный финал “Ревизора”, комедию “Игроки”, переработанный вариант “Театрального разъезда после представления новой комедии”; хлопочет о прохождении через цензуру “Ревизора” и “Женитьбы” для бенефисов М. С. Щепкина и И. И. Сосницкого, работает над вторым томом “Мертвых душ”.

Поздней осенью 1842 г. Гоголь пригласил в Рим жившую тогда во Флоренции Александру Осиповну Смирнову (урожденную Россет) — свою хорошую знакомую,

фрейлину императриц Марии Федоровны, а затем и Александры Федоровны. Приехавшая в Рим в январе 1843 г., Смирнова сняла апартаменты в палаццо Валентини на южной стороне Piazza Santi Apostoli недалеко от Форума Траяна. (Сегодняшний адрес этого палаццо XVI в., построенного архитектором Доменико Паганелли для кардинала Карло Бонелли: Via Cesare Battisti, № 119.) На протяжении нескольких недель Гоголь каждое утро являлся в палаццо Валентини (“серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками”), и они вместе со Смирновой на осликах ездили по Риму и окрестностям. Фрейлина вспоминала:

“Он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие... Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне <гида> не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого был он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления”.

Все экскурсии заканчивались, как правило, собором Св. Петра. “Это так следует, — утверждал Гоголь. — На Пе-

тра никогда не нагладишься, хотя фасад у него комодом”. При входе в собор, вспоминала Смирнова, Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду (хранителю) приказано было требовать церемонный фрак — “из уважения к апостолам, папе и Микеланджело”. Однажды, когда они поднимались под купол Св. Петра, фрейлина сказала Гоголю, что ни за что не решилась бы пройти по внутреннему карнизу — хотя он так широк, что по нему могла бы проехать карета, запряженная четверкой лошадей. Гоголь тогда ответил:

“Теперь и я не решился бы, потому что нервы у меня расстроены; но прежде я по целым часам лежал на этом карнизе и верхний слой Петра мне так известен, как едва ли кому другому. Когда взглядишься в Петра и в пропорции его частей, нельзя надивиться довольно гению Микеланджело”.

После поездок Гоголь часто заходил в лавку, покупал макароны, масло и пармезан и, несмотря на возражения Смирновой (“у Лепре <в известном трактире> это всего пять минут берет”), сам долго и обстоятельно готовил обед.

Проживший рядом с Гоголем на виа Феличе зиму 1842/43 г. поэт Н. М. Языков вспоминал, что та зима была “пренегодной”:

“Холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные. На прошлой неделе от излишества вод и ветров вечный Тибр вздулся, можно сказать — вышел из себя,

и затопил часть Рима так, что на некоторых улицах устраивалось водное сообщение. Теперь он успокоился, но дожди продолжают и еще не дают надежды на приятный карнавал, которому быть послезавтра! До сих пор я никогда не видел таких ливней, какие здесь: представь себе, что бывают целые дни, когда дождь льет, не переставая ни на минуту, с утра до вечера, и льет как из ведра, как из ушата! Небо как тряпка. Воздух свищет, вода бьет в окна, по улице река течет, в комнате сумерки!”

Письма Гоголя того времени говорят о растущей нестабильности по России:

“Для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого, близко. Малина и попы интересней всяких колизеев...” (Письмо А. Данилевскому, февраль 1843); “Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь <в Риме>, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию и нет меры любви к ней” (Письмо С. Шевыреву, февраль 1843); “У меня точно нет теперь никаких впечатлений и... мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии... Живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле, которые носят неразлучно со мною, и все, что там ни есть и ни заключено, ближе и ближе становится ежеминутно душе моей” (Письмо А. Данилевскому, июнь 1843).

В самом начале мая 1843 г. Гоголь снова уехал из Рима в Германию, а зиму 1843/44 г. провел в Ницце; весной 1844 г. он через Страсбург, Дармштадт, Баден приехал во

Франкфурт, где долго — до середины января 1845-го — жил в доме Жуковского. Всю первую половину 1845 г. он провел в разездах между Германией и Францией — по его мнению, путешествия, “дорога” помогали ему... В эти месяцы метаний по Европе он несколько раз был опять тяжело болен (“я едва было не отклонялся, но Бог милостив”, писал он позднее); тогда же Гоголь дважды сжигал рукописи второго тома “Мертвых душ”.

Лишь осенью 1845 г. Гоголь снова решает ехать в Рим и с дороги просит римского друга Александра Иванова снять ему комнату поближе к знакомым местам у Монте Пинчио:

“Участь моя определилась. После холодного лечения мне сделалось лучше, и я еду теперь к вам в Рим, и по собственному желанию, и по медицинскому совету. Имейте в виду для меня квартирку или в Via Sistina u Felice, или Грегориана, — две комнатки на солнце... Можно даже заглянуть и к Челли, моему старому хозяину. Хотя он своей безалаберностью и непрерывной охотой занимать деньги смущает меня, но если, кроме него, не найдется в тех местах, то можно будет и у него. Я привык к этим местам, и мне жалко будет им изменить”.

24 октября 1845 г. Гоголь приезжает в Рим и поселяется по новому адресу: Via della Croce, № 81, четвертый этаж. (Этот старинный дом на углу Via Mario de Fiori, известный в Риме как палаццо Понятовского, сохранился; во дворике, откуда жильцы входили на лестницу, теперь располагается ресторан “Otello”).

Дом на углу Via della Croce и Via Mario de Fiori, известный в Риме как палаццо Понятовского. Здесь с октября 1845 по май 1846 г. жил Н. В. Гоголь.



В это свое пребывание в Риме Гоголь особенно близко знакомится с графиней С. П. Апраксиной. Старый друг Гоголя — А. О. Смирнова писала в те дни П. А. Плетневу из Калуги:

146

“До меня дошло, что Гоголь поправился, бывает всякий день у Софьи Петровны Апраксиной, которая очень его любит, чему я очень рада. Ему всегда надобно пригрезься где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно”.

В ту зиму в течение четырех дней в Риме находился российский император Николай I, посетивший до этого с больной императрицей Сицилию. Для императора были приготовлены апартаменты в Palazzo Giustiniani на Via della Dogana Vecchia, ранее занимаемые русским чрезвычайным посланником при Святейшем престоле А. П. Бутеневым, переехавшим по этому случаю в гостиницу. 13 декабря 1845 г. состоялась важная с дипломатической точки зрения встреча русского царя с Римским Папой Григорием XVI. В письмах различным адресатам Гоголь сообщает, что “видел государя два-три раза мельком”, “любовался им издали”, когда Николай прогуливался в коляске по Монте Пинчио.

“Лицо его было прекрасно, — писал Гоголь из Рима Смирновой. — Исполненная благоволения наружность его, несмотря на некрасивое и к нему вовсе не идущее наше штатское платье, не могла не поразить всех. Я не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного бла-

говоления, напоминать о своем существовании... Римом вообще государь остался бы больше доволен, если бы прожил подолее, если бы погода была получше и если бы квартира не попала бы ему такая дурная, каков сырой и мрачный palazzo Giustiniani...”

(Гоголь оказался прав: Николай I строго выговорил Бутеневу “за размещение посольства в неподобающем месте”. Выскажу, однако, мнение, что Николай, человек в бытовом смысле крайне неприхотливый, разгневался скорее всего на то, что русское посольство в Риме в палаццо Джустиниани располагалось в самом центре “французского квартала”, прямо напротив французской церкви San Luigi dei Francesi.) От доктора И.-Л. Шенлейна, одоббившего новую поездку в Рим, Гоголь имел строгое лечебное предписание: “вытиранье мокрой простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю и две какие-то гомеопатические капли поутру”. Между тем здоровье Гоголя в ту римскую зиму опять серьезно ухудшается:

147

“Я зябну теперь до такой степени, что ни огонь, ни движение, ни ходьба меня не согревают. Мне нужно много бегать, чтобы сколько-нибудь согреть кровь, но этого теперь нельзя, потому что совсем ослабели и ноги, и силы, жилы болят и пухнут” (Письмо А. Толстому); *“Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься...”* (Письмо Н. Языкову).

В мае 1846 г. Гоголь выехал из Рима в Париж (через Флоренцию, Геную, Ниццу). Там его встретил старый знакомый Анненков:

“Гоголь постарел, но приобрел особого рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа”.

В июне Гоголь уехал лечиться в Германию, где много работал над вызвавшими потом жаркую полемику в литературно-политических кругах “Выбранными местами из переписки с друзьями”. Собираясь на очередную зиму в Италию, мечтает больше о ранее не оцененном им Неаполе — Рим, судя по письмам, уже не привлекает Гоголя. “В Рим вряд ли заеду, да и незачем”, — пишет он Смирновой. Тем не менее по дороге из Ниццы в Неаполь он, наряду с Генуей и Флоренцией, останавливается на три дня в Риме (12–14 ноября 1846 г.).

“Неаполь я избрал своим пребыванием потому, что мне здесь покойней, чем в Риме, и потому, что воздух, по определенью доктора, для меня лучше римского, что, впрочем, я испытал: здесь я меньше зябну” (Письмо С. Шевыреву); “Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не казался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил Бог душу мою к принятию впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет в нем и любовался им холодно. Во все время прежнего пребывания моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как бы на родину свою. Но теперь, во время проезда мо-

его через Рим, уже ничто в нем меня не заняло, ни даже замечательное явление народного восторга от нынешнего истинно-достойного папы <Пия IX>. Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновение холода и сырости. Но как только приехал в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя...” (Письмо В. Жуковскому).

В мае 1847 г. Гоголь вновь выезжает из Неаполя на северные курорты и 12 мая минует Рим, практически не останавливаясь. Так же он поступит на обратном пути в Неаполь в октябре того же года — это будет последнее посещение Гоголем Рима. Наверное, прав Анненков:

“Новая цепь идей под конец жизни заслонила перед Гоголем и образ самого города, столь любимого им некогда...”

А возможно, надо внимательнее перечитать одно из сравнительно мало известных писем Гоголя своему близкому другу — Данилевскому:

“Ничего не пишу к тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил к себе в глубину души моей. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен. И, как путешественник,

который уложил все свои вещи в чемодан и усталый, но покойный ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далекий, верный, желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутреннею, удаленною от мира жизнью, покойно, неторопливо, по пути, начертанному свыше, готов идти укрепленный и мыслью, и духом...



Палаццо Валентини (современное фото). Здесь располагались апартаменты фрейлины А. О. Смирновой-Россет, куда в начале 1843 г. часто заходил Н. В. Гоголь.

Приложение I

Н. В. Гоголь. “Рим”

(фрагменты)

151

Первоначальный набросок повести о Риме (она тогда называлась “Аннунциата”) Гоголь привез с собой в Россию уже осенью 1839 г. В феврале 1840 г. он читал первые главы повести у Аксаковых. По-видимому, переделкой повести Гоголь занимался зимой 1841/42 г. Повесть посвящена судьбе юного итальянского князя, который едет учиться в Париж и возвращается в Рим после пятнадцати лет отсутствия. Сначала, находясь в Париже — “самом сердце Европы”, он свысока рассуждает о своей родине: “Италия казалась ему теперь каким-то темным, заплеснелым углом Европы, где заглохла жизнь и всякое движение”. Однако со временем он испытывает глубокое разочарование: “Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней...” В итоге князь возвращается в Рим и переживает “новое узнавание” Вечного города:

“Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами и с недоумением вопрошает, попа-

дая из переулка в переулочек: где же огромный древний Рим? И потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулочков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед старинной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плещей, алоэ и открытых равнин, необъятным Колизеем, Триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулочков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо... Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма скрыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам,

трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоненных снизу громад, живой крик рыночного продавца у портика, лимонадчик с воздушной украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась сама невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдохнувшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти непрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес, и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулочка возносился пред ним дворец, дышавший строгим сумрачным величием... — или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; — как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе с черными, как уголь, кипарисами... И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкую роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятель-

ности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столаров и кучи мастеровых и лишивших мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство... При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем... В такую торжественную минуту он примирился с разрушением своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый...”

Приложение II

П. П. МУРАТОВ. “ГОГОЛЬ И РИМ”

155

В Гоголе воплощено с необыкновенной, поистине стихийной силой, тяготение к Италии и Риму, охватившее русских людей сороковых годов. Но мало так сказать! Трудно найти в какой-либо литературе и трудно даже представить себе такую восторженную любовь к Италии, какой ее любил Гоголь. Письма Гоголя, писанные разным лицам из Рима, являются незабываемым памятником этого изумительного глубокого и яркого чувства... Рим внушает Гоголю необъятно широкое, “эпическое” чувство, и если вспомнить, что в Риме писалась эпопея “Мертвые души”, то сквозь строки этих писем на нас глянет обширная и важная тема об участии Рима в творчестве Гоголя, — тема, еще не затронутая русской литературой. Здесь должно сказать только, что великий труд Гоголя питало его счастье Римом... Гоголь открыл в русской душе новое чувство — ее родство с Римом. После него Италия не должна быть чужбиной для нас. После него должны прийти другие, которые будут писать в своих римских письмах, как он писал Данилевскому: “Ты спрашиваешь меня, куда я летом. Никуда, никуда, кроме Рима. Посох мой страннический уже не существует...”

Я теперь сижу дома, никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь, и в Толстое, то есть во Фраскати или в Альбано”. Пусть другим, вслед за Гоголем, выпадут часы, подобные тем, какие проводил он в саду Волконской. “Я пишу тебе <Данилевскому> письмо, сидя в гроте на вилле у кн. З. Волконской, и в эту минуту грянул прекрасный проливной, летний, роскошный дождь на жизнь и на радость розам и всему пестреющему около меня прозябанию”. Другие пусть повторят за ним его прогулки. “Мои прогулки простираются гораздо далее, глубже в поле. Чаще я посещаю термы Каракаллы, Roma Vecchia <Старый Рим>, с его храмами и гробницами, Villa Mattei, Villa Mills...” И тогда не умрет в русской литературе великая часть души Гоголя, вложенная им в этот призыв: “Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия...”

П. П. Муратов. Образы Италии.
Предисловие к первому изданию
(1910). М., 1993, т. 1, с. 11–12.

Приложение III

В. В. ВЕЙДЛЕ.

“Римлянин Гоголь”

157

...Когда я в Риме, я всегда нет-нет, да и подумаю о Гоголе. Наглядишься, бывало, с верхушки Испанской лестницы на то, как в небо взлетает и покоится в небе купол Св. Петра, да и начнешь медленно спускаться по улице, образующей с двумя продолжениями своими вытянутую по шнуру каменную просеку, которая, опускаясь и поднимаясь с холма на холм до самой Санта Мариа Маджоре, перерезает старый папский город. Прорубить повелел ее в конце XVI века папа Сикст Пятый, в честь которого и называется она Сикстинской. Но в гоголевские времена звалась она “Счастливой” — “виа Феличе” — и, спускаясь по ней, редко забывал я остановиться против дома номер 126 и взглянуть лишний раз на мраморную доску, прибитую между двумя его окнами в 1901 году заботами, как на ней указано, русской колонии в Риме... Так что, в сущности, — каждый раз себе это говорю и каждый раз дивлюсь, — из ворот вот этого самого дома и выехала бричка, на которой ездят господа средней руки, с Селифаном и Петрушкой на козлах; в этом самом доме на третьем этаже и родились... и Манилов, и Коробочка, и Плюшкин, и дама приятная во всех отношениях,

и губернатор, вышивающий по тюлю, и сам Павел Иванович Чичиков... И что же?.. Коробочку ты встречаешь утром, когда выйдешь погулять между Тритоном, радостно мечущим вверх водную струю, с великолепной громадой палаццо Барберини: “Может быть, понадобится птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья!” — А на площади Квиринала, возле Диоскуров, где сияет вдали тот же купол, увенчивающий Рим, тебе слышится голос Ноздрева: “Брудастая с усами; шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет!” — Или на крутой тропе, что ведет меж пиний и кипарисов от говорливых мраморов Форума к тенистому молчанию Палатина, Собакевич, наступив тебе на ногу, “входит в самую силу речи”: “А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!”... Все эти слова и голоса звучали для него здесь — возле Траянова столпа, у пирамиды Кая Цестия, на Латинской, на Аппиевой дороге.

В. В. Вейдле. Римлянин Гоголь // Рим. Из бесед о городах Италии. Париж, 1967, с. 65–67.

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН

159

Михаил Петрович Погодин (11. 11. 1800, Москва — 8. 12. 1875, Москва) — историк, журналист, издатель. Специалист в области русской и славянской истории. Профессор Московского университета, с 1841 г. — академик. В 1827–1830 гг. издавал журнал “Московский вестник”, в 1844–1856 гг. — журнал “Москвитянин” (вместе с С. П. Шевыревым). По своим общественно-политическим взглядам был близок к славянофильскому направлению.

Зимой 1839 г. отправился с женой в большое заграничное путешествие, которое подробно описал в четырех выпусках дневниковых записей “Год в чужих краях” (М., 1844). В санной повозке добирались до Варшавы; оттуда дилижансом через Вену до Триеста; далее пароходом в Венецию; оттуда снова дилижансом через Феррару, Падую, Болонью, Анкону, Лорето и Фолиньо — в Рим.

Погодины приехали в Рим 8 марта 1839 г. Там их встретил уже проживший несколько месяцев в Риме Николай Васильевич Гоголь и поселил в соседних со своей квартирой комнатах по адресу: Via Sistina, № 126, в районе художественной богемы у Монте Пинчио. Гоголь и другой старый знакомый Погодиных — историк и писатель Степан Петрович Шевырев (много лет пробывший в Италии в качестве домашнего учителя в семье княгини З. А. Волконской) составили для них детальный план осмотра Рима. Сразу же по приезде Гоголь повел (“поташил”) их смотреть храм Св. Петра, а затем на Форум.

Погодин: *“Обошли Форум. Терпения не достанет смотреть на этих итальянцев, как они работают: где-то возьмут лопату, где-то подгребут мусору, где-то обмахнут или перевернут тележонку. Прислать бы сюда тысячи две белорусцев из Одессы, со своим ржаным хлебом, так они... в один год очистили бы вам всю площадь, как она была в римское время, и даровали ученому свету великое зрелище. Началом работ ученый мир обязан французам, но теперь они идут очень тихо, потому что у Папы денег мало”.*

Обедали Погодины в любимой Гоголем трагтории “Лепре” (“Заяц”) на Via Condotti, № 11, недалеко от Испанской лестницы.

Погодин: *“Устали, проголодались без памяти, а гостиницы все заперты. Надо ждать до шести часов, когда пропоется Ave Maria... Наконец, служба кончилась, и на-*



Конные экипажи на эспланаде Монте Пинчио (фото конца XIX в.).

род толпами бросился в гостиницы, чуть растворились двери. Нынче мы обедали у Лепре. Народа, небогатого, множество; насилу нашли место, хотя пропустили не более пяти минут по отворению дверей. Камерьер ита-

льянский — существо особого рода. В белом переднике, а здесь и в белом колпаке, бегаёт он по комнатам, схватывает на лету заказы, кому *maccherone au gratin*, кому *cervelli fritti*, кому *cefalo con patate*, кому *zuppa inglese*, кому *crostata*, передает их на кухню, и через две-три минуты возвращается, навьюченный блюдами, в руках, под мышками, чуть ли не на ногах, раздает всем, кто что требовал, без ошибки, и немедленно отправляется опять в новое путешествие. Вы кончили ваш обед, подзываете его, и он, с десятками новых заказов в голове, напомним вам в случае нужды, что вы забыли при исчислении вашего обеда, сочтет вам, не останавливаясь, как пономарь: *pasta al brode — 4*, *testa di Mongana — 8*, *Agro dolce di segnale — 7*, *pollastro mezzo — 15*, *crema, summa — 4 paoli*: и получит от вас деньги, даст вам сдачу, положит себе на водку в особый карман, примолвив соразмерно с вашей щедростью: *grazie, mille grazie*, и поскачет в свою кухню. Память, или навык, проворство удивительные!”

Каждый день, с раннего утра Погодины, часто вместе с Гоголем и Шевыревым, смотрели римские достопримечательности или, наняв коляску на пьяцца Спанья, осматривали виллы в окрестностях Рима — в “Дорожном дневнике” подробнейшим образом описаны все их римские маршруты. Как профессиональный историк, Погодин вместе с Шевыревым много времени проводил в музеях и библиотеках Ватикана.

В течение месяца своего пребывания в Риме Погодины неоднократно посещали виллу княгини Зинаиды

Александровны Волконской недалеко от базилики San Giovanni in Laterano, а также апартаменты жившего тогда в Риме московского губернатора князя Д. В. Голицына. В Дневнике от 25 марта сохранилась запись о посещении римской студии Александра Андреевича Иванова в доме № 5 в переулке Вантаджо (в районе Piazza del Popolo, недалеко от набережной Тибра), где художник с 1837 по 1858 г. работал над картиной “Явление Христа народу”.

Погодин: “Картина представляет проповедь в пустыне св. Иоанна Крестителя, который указывает на Спасителя, вдали идущего. Прекрасное сочинение: Иисус Христос, чуть видимый вдали, произвел на меня особое действие, и мгновенно навел задумчивость. Счастливая мысль, которой подобной я не видал нигде... Одним словом, задумано превосходно — есть где развернуться художнику, есть что представить. Дай Бог ему! Говорят, что г-н Иванов работает очень медленно, беспрестанно поправляет себя, недовольный. Жаль; с таким расположением души лучше б ему писать картины, не столь сложные, как эта”.

Посещал Погодин и мастерские других русских художников в Риме — Ефимова, Рихтера, Пименова, Каневского, Маркова, Иордана, Бруни, а также студии знаменитых римских мэтров — датчанина Торвальдсена и итальянца Генерани.

Каждый вечер по два часа Погодины занимались итальянским языком с рекомендованным им учителем

Грифи (“сорок рублей в месяц — какая дешевизна!”). А ближе к ночи Погодин обычно толковал с соседом Гоголем о судьбах России и русской литературы — “за рюмками сладенького и легкого Дженсано”.

Тяготеющего к славянофильству Погодина весьма волновала в Риме проблема взаимоотношений православия и католицизма, и, в частности, ставшее популярным в русской колонии в Италии обращение в римскую веру (эти настроения весьма поддерживались, например, в римском салоне католички З. Волконской). Как-то раз, на прогулке по Риму Погодин встретил знакомую ему по Москве г-жу N., также принявшую католичество.

Погодин: *“Вот объяснение переходов: в детстве не получают эти господа и госпожи никаких понятий о религии, разве поверхностные. В молодости они грешат, увлекаясь потоками света; к старости, в чужих краях, приходят иногда в себя и начинают думать и бояться будущей жизни — в эту-то минуту появляется ловец, услужливый аббат, красноречивый, снисходительный, — он утешает, объясняет, убеждает и овладевает умом и воображением бедного грешника или грешницы, которые прежде не слыхали и не имели случая ничего слышать подобного о своей церкви, верят на слово, что там и нет ничего, кроме заблуждений, не имея силы состязаться оружием слишком неровным, — и упадают в сети. Вот что советовал бы я этим несчастным лицам как соотечественник и христианин: выслушав аббата, согласясь с его верованиями, побывайте, до перехода, у русского*

священника или архиерея, сообщите ему ваши вновь приобретенные мнения и спросите у него ответов, а потом сравните, рассудите и проч.”.

Однажды, будучи в Термах Каракаллы с Гоголем и Ивановым, Погодин увидел “большое общество”, судя по долетавшим обрывкам разговора — из русских:

“Я заговорил нарочно со своими, чтоб показать, что и мы русские, но не произвел ни малейшего действия. Прошли как чужие. Я не постигаю, как грубеет настоящее национальное и даже человеческое чувство в этих господах, хотя, может быть, и очень утончается космополитическое! Мне грустно было смотреть на них. Что до меня, сознаюсь в квасном патриотизме: лишь только услышу русский звук в чужих краях, всегда готов броситься на шею к кому бы то ни было”.

Особенно запомнились Погодиным в Риме пасхальные торжества и предшествующие им публичные действия: иллюминация на храме Св. Петра, фейерверк в замке Св. Ангела и др. О фейерверке (римской традиции, идущей еще от Микеланджело) есть подробная запись в дневнике. Чтобы лучше видеть ночной салют над замком Св. Ангела (бывшим мавзолеем императора Адриана), Погодины вместе с Гоголем и Ивановым хотели пробраться поближе к набережной Тибра, но на всех подходах к ней с раннего вечера уже стояла сплошная толпа. В одном из высоких домов в районе Piazza Borghese привратник предложил им четыре места на балконе.

Погодин: *“Людей натыкано было на этом брennom балкончике столько, что я побоялся, как бы он не обломился. Мы стали одною ногою наружи, а другую на пороге, чтоб на всякий случай иметь хоть какую-нибудь точку опоры. Разумеется, нам будет видно хуже, через головы, зато безопаснее... Но вот прошипела и сверкнула ракета... Первая декорация понравилась особенно: густые облака дыма рассеялись, и крепость Св. Ангела представилась каким-то волшебным замком, вся в пламени; залились огненные фонтаны, загремели бураки из тысячи ракет, которые рассыпались над Тибром при залпах из пушек... Торжественно, величественно, высоко! Нас так и обсыпало искрами беспрестанно. Прилетали и заворотки, головни. Стекла звенели, дома дрожали, — того и глядел я, что балкончик наш кувьркнется в Тибр, и, каюсь в трусости, я прижимался к стене”*

2 апреля с Гоголем и Ивановым Погодины поехали в знаменитое своими водопадами и развалинами древних вилл местечко Тиволи к северо-востоку от Рима. Отправившись рано утром, они выехали из Рима через ворота Сан-Лоренцо и к середине дня были в Тиволи.

Погодин: *“Мы остановились в гостинице подле храма Весты, на вершине скалы. Знаменитый водопад перед глазами... Мы нашли четырех лошаков с двумя проводниками. Пресмешная процессия составила из нас, как мы в разнообразных своих костюмах: плащах, салопах, блузах — сели на долгоухих чад осла и кобылицы и потянулись гуськом под гору смотреть Cascatelli <каскады>.*



Фейерверк над замком Св. Ангела (рисунок XIX в.).

Иванов хотел написать эту смешную картину. Виды прелестные на каждом шагу, с горы, по коей мы ехали, чрез обширный овраг, на другую гору, высшую, с которой ниспадают эти великоленные потоки, белыми, серебряными, радужными, переливными лентами, пуская от себя блестящую пыль”

В тот день в Тиволи они побывали на развалинах виллы Мецената и средневековой вилле кардинала д'Эсте, а затем и на находящейся в нескольких километрах ниже вилле императора Адриана. А через несколько дней Погодины вместе с Гоголем и художником Рихтером ездили во Фраскати — древний Тускул, любимое место Цицерона, где он написал свои “Тускуланские размышления”.

Подробнейшим образом описал Погодин православную пасхальную ночь в Риме. Служба происходила в домовый церкви русского посольства, где иконостас, сделанный по проекту Константина Тона, украшен образцами работы Карла Брюллова (сейчас его можно увидеть в православной церкви на Via Palestro, 71).

Погодин: *“Малая и тесная церковь вместе со смежною комнатою была полнехонька. Приятно было почувствовать себя между своими, приятно молиться вместе русскому Богу, петь русские молитвы, обняться, перецеловаться по обычаю предков. Иные назовут это квасным патриотизмом, — пожалуй; но я почитаю себя счастливым, что это юношеское чувство сохранилось во мне до сих пор живое, горячее. Странно выставлять его наружу — да зачем же исключать мне эти строки из своего дневника... Художники наши разгавливаются все вместе, и пригласили меня к себе на празднество...”*

Этот день — 7 апреля 1839 г. — оказался очень длинным. От полуночи до двух часов продолжалась заутреня; в два часа, распевая по сонным римским улицам рус-

ское “Христос воскрес из мертвых, смертью смертью поправ и сущим в гробех живот даровав”, группа русских мимо Форума Траяна и фонтана Треви пришла на одну из русских квартир в районе Испанской площади, где было назначено разговенье.

Погодин: *“Столы были накрыты и уставлены так, что и скатертей не видно. Откуда ни взялись русские куличи, пасха и печенье красные яйца... Было человек зо. Тридцать человек, живущих на счет правительства! Началось целование. Распорядитель Л. попросил сесть за стол, и что же? Откуда ни явился ужин, или лучше особенная заутренняя трапеза. Посыпались холодные, жаркие, пирожные, похлебки, полилось бургонское, португальское и, наконец, шампанское. Подумаешь, богачи задают пир, — и ни от чего нельзя было отказаться. Чего тут не было, а ни у кого за душой ни копейки, — русский дух!”*

Право первого тоста было предоставлено Погодину (как-никак профессор Московского университета!):

“Здоровье нашего славного Царя, августейшего покровителя художеств, и да утвердится в нем более и более мысль, что искусство есть венец гражданского образования, лучшее украшение жизни, слава государства. Боже, Царя храни!”

Хором грянули гимн, но после первого куплета все стали поглядывать друг на друга, ожидая продолжения.

Погодин: *“Оборотились ко мне, я помнил не больше, и начал сначала — все обрадовались, как будто вспомнили*

все, и подхватили опять, только гораздо громче: Боже, Царя храни!”

Потом выпили за здоровье наследника престола, великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II), который незадолго до этого, побывав в Риме, “так одобрил всех наших художников, заказал им работы и вообще оставил самые приятные воспоминания”... Пасхальным утром, чуть отоспавшись, Погодины побывали еще в двух центрах “русского Рима” — у московского градоначальника князя Голицына, а вечером — у княгини Волконской.

Прежде чем отправиться во Францию, Погодины решили посетить Неаполь и были очень рады, что такой знаток Италии, как С. П. Шевырев, согласился проделать этот маршрут вместе с ними:

“Мы очень обрадовались такому драгоценному чичероне <гиду> для достопримечательностей Неаполя и Помпеи, где он был долго и знает коротко. Хоть добрый Грифи выучил нас немножко болтать по-итальянски, но какая же разница ехать с Шевыревым, который готов говорить хоть с Дантом и Петраркой!”

8 апреля 1839 г. неожиданно выяснилось, что слуга, посланный Шевыревым в контору дилижансов проведать насчет наличия мест до Неаполя, по недоразумению взял места в дилижанс, отправляющийся уже на следующее утро.

Погодин: *“Решение судьбы! Это известие поразило меня как громом. Неужели надо оставить Рим? Не рас-*

стался бы с ним: никакой город не производил на меня до сих пор такого впечатления, как Рим, и уехать, не досмотревши всего, не пересмотревши ничего, не имея ни одного дня для спокойного обозрения!”

Наутро проснулись в пять часов, очень торопились и на станции дилижансов были первыми. Однако вместо шести часов, как значилось в расписании, отправились только в десять (“итальянцы не славятся своею точностью”).

Погодин: *“Придется ли еще когда увидеть мне Рим? А хотелось бы! Грустно, очень грустно!”*

Отправляясь из Рима в Неаполь, Погодины простились с Гоголем до Чивитта-Веккиа, куда тот обещал выехать навстречу, так как пароход на обратном пути из Неаполя в Марсель должен был там сделать остановку на несколько часов. Гоголь сдержал слово: 18 апреля в полдень он ждал Погодиных и Шевырева на пристани в Чивитта-Веккиа...

ФЕДОР
ИВАНОВИЧ
БУСЛАЕВ

172

ФЕДОР ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ (13. 04. 1818, Керенск Пензенской губ. — 31. 07. 1897, Москва) — филолог, историк, искусствовед. Специалист в области истории русского языка, славянской филологии, истории византийского и древнерусского искусства. Профессор Московского университета, с 1861 г. — академик.

После окончания словесного факультета Московского университета был приглашен работать домашним учителем в семью графа Сергея Григорьевича Строганова — попечителя Московского учебного округа. Летом 1839 г. Строганов пригласил его с собой в Италию, где Буслаев должен был преподавать русскую историю и словесность детям графа. Строганов снабдил молодого учителя деньгами (тогда путешественники предпочитали голланд-

ские десятифранковые червонцы) до Дрездена, где тот должен был ожидать графиню с детьми из Карлсбада, а самого графа — из Москвы. По совету своего университетского профессора римской словесности Д. Л. Крюкова Буслаев запасся в Петербурге книгами о Риме, в том числе фундаментальным трудом О. Мюллера по археологии искусства. А управляющий графа, желая, по-видимому, угодить хозяевам, купил для Буслаева билет на пароход до Любека не второго класса, а первого, чем, по словам Буслаева, нанес немалый ущерб его кошельку и “обрек на исключительное положение между первоклассными пассажирами из великосветского общества”.

Буслаев: *“В потертом сюртуке скромного покроя и в черной шелковой манишке вместо голландского белья, я казался темным пятном на разноцветном узоре щегольских костюмов окружавшей меня толпы. Впрочем, это нисколько не смущало меня, потому что и сидя в каюте, и гуляя по палубе, я не имел ни минуты свободной, чтобы обращать на кого бы то ни было внимание, уткнув свой нос в книгу Отфрида Мюллера. Все время на пароходе я положил себе на ее изучение, чтобы исподволь и загодя готовить себя к специальным занятиям по истории греческого и римского искусства и древностей в Риме и Неаполе. На другой же день плавания мне случилось заметить, что между моими спутниками первого класса я прослыл за скульптора или живописца, отправленного из Академии художеств в Италию для усовершенствования в своем искусстве. Это очень польстило моему само-*

173

любию, и тем более, что я еду в такой дальний путь и с такой возвышенной целью, тогда как все другие направлялись — кто веселиться в Париж, Лондон или Вену, а кто полоскать свой желудок на минеральных водах”.

Буслаев добрался морем до Травемюнде, потом ехал дилижансами; от Лейпцига до Дрездена уже была железная дорога. Оттуда он вместе со Строгановыми ехал до Неаполя экипажами. Для крутых подъемов на высоты Тирольских и Апеннинских гор в экипажи впрягали волов. На два-три дня путешественники останавливались в Нюрнберге, Мюнхене, Инсбруке, Вероне, Мантуе, Модене, Сиене; по неделе провели во Флоренции и Риме; месяц — в Болонье.

Граф Строганов ехал в Италию со всей семьей: женой, сыновьями Александром (студентом, на год моложе Буслаева), Павлом, шестнадцати лет, Григорием, десяти, и полуторогодовалым Николаем, а также дочерьми Софьей и Елизаветой, пятнадцати и тринадцати лет. Их сопровождали также немецкий гувернер старших сыновей (доктор филологии одного из немецких университетов), лозаннская гувернантка дочерей, немецкая бонна Николая, камердинер графа, горничная графини и повар. Был также специальный кондуктор-курьер, свободно говоривший на четырех языках, который ехал впереди экипажей и договаривался насчет обеда и ночлега. В случае длительных остановок этот же курьер нанимал для Строгановых дом или виллу со всей обстановкой и прислугой. В гостиницах для богатых

путешественников полагался также гид — “лон-лакей” (по-итальянски — *domestico di piazza*). Однако старший граф Строганов, будучи одним из образованнейших людей своего времени, и сам прекрасно знал Европу. Он владел несколькими европейскими языками, был одним из крупнейших в Европе коллекционеров древнего искусства: в своем петербургском доме у Полицейского моста он собрал огромную коллекцию древних монет; московский же дом Строганова славился на всю Европу собранием византийских и русских икон.

Буслаев: “Он <граф Строганов> не принадлежал к большинству тех заурядных любителей изящного, которые, относясь к художественным произведениям слегка, как к приятной забаве, умеют оценивать его качества только личным своим вкусом, иногда тенденциозным пристрастием, а то и просто минутным капризом. Настоящий знаток не довольствуется в эстетических взглядах таким узким, крайне субъективным кругозором и проверяет и подкрепляет свои личные впечатления и суждения научным знанием и опытом, которую приобретает многолетним и постоянным изучением художественных произведений во всех мельчайших подробностях технического их исполнения. Именно таким знатоком был и граф”.

Сыновья Сергея Строганова впоследствии продолжили традицию отца: Павел Сергеевич разместил в своем петербургском доме на Сергиевской большую картинную галерею, а Григорий Сергеевич, живший в основ-

ном в Италии, собрал в Риме в своем палаццо на Via Sistina около Trinita dei Monti уникальную коллекцию памятников древнехристианского и византийского искусства.

В начале ноября 1839 г. Строгановы приехали наконец в Неаполь, где прожили до апреля 1840 г.; начало лета провели на острове Иския, а в августе-сентябре два месяца жили на вилле в Сорренто. Строганов поначалу не собирался более заезжать в Рим и, по просьбе Буслаева, отпустил его в мае 1840 г. в Рим на две недели.

Буслаев: *“Заранее составил я себе план с обдуманно строгим выбором, что надобно мне в Риме осмотреть и где быть, и не ограничивался беглым обзором, даже по нескольку раз побывал там и внимательно изучал то, что особенно меня интересовало и что казалось мне самым важным и необходимым. В голове моей крепко засела всего меня охватившая мысль, что этих сокровищ знания и образования я уже потом никогда не увижу. Две майские недели слились для меня в один торжественный праздник. Вместе с тем мое ликование растворялось унылым ожиданием разлуки”.*

Осенью 1840 г. Строгановы, однако, приехали в Рим, решив именно здесь провести зиму. Курьер снял для них большие апартаменты в двух этажах дома в районе Испанской площади, известного в Риме как “Casa Dies” (на углу Via Gregoriana и Capo le Case).

Буслаев: *“Я жил в верхнем этаже. В моей комнате вместо окон были две стекольные двери, выходявшие*



Дворец Строгановых на Via Sistina.

каждая на свой балкончик, так что, находясь у себя дома, я всегда мог любоваться бесподобною панорамой западной части Рима”.

Угловой дом на виа Грегориана был в те годы одним из самых высоких в этой части Рима — с верхних этажей действительно открывался уникальный вид. Вот лишь одна из дневниковых записей Буслаева (от 19 ноября 1840 г.):

“Зрелище величественное! Со своего балкона сейчас смотрел я, как нисходили первые лучи восходящего солнца на Святого Петра: сначала осветился фонарь, потом мало-помалу купол и, наконец, все здание с соседним Ватиканом. За Святым Петром все было сумрачно, так как он сам горел розовым сиянием: вот истинный символ церкви! Так нисходит Святой Дух на освященный алтарь, верил я тогда в преизбытке глубокого умиления. Кстати пришлось, что перед таким чудом природы я, как нарочно, во второй песне «Пургатория» <«Чистилища»> читал о лучезарном явлении ангела. Но так высока и исполнена поэзии моя действительность, что сейчас виденное мною предпочитаю сказанному даже самим Дантом”.

Биограф и исследователь творчества Буслаева Э. Л. Афанасьев так передает первоначальные римские настроения Буслаева:

“Поначалу его очарование было так велико, что все окружающее как бы потускнело и померкло: он не замечает ни сценок итальянской народной жизни, ни даже красот самого пейзажа дивной страны. Ему чудилось, будто

самый воздух Италии — ясный и прозрачный — словно застыл во времени и живет только в вечности, и он с радостью переселяется в этот мир... Это чистейшее наваждение имело решительное влияние на всю дальнейшую деятельность Буслаева: все наиболее продуктивные его мысли отныне неизбежно несут в своем составе необыкновенную чуткость к художественной форме; все они будут формироваться в поле повышенного внимания к красоте”.

Что касается буслаевских обязанностей домашнего учителя, то и в Неаполе, и в Риме существовал один и тот же распорядок занятий: полдевятого подавали кофе; от 9 до 12 часов Буслаев давал три урока: Павлу, потом Григорию, потом обеим сестрам вместе. Буслаев преподавал русскую историю и словесность (не только теорию — риторiku и пиитику, — но и историю литературы). Всю вторую половину дня он был относительно свободен и посвящал это время углубленному знакомству с папской столицей, которая во многом жила тогда еще жизнью средних веков.

Буслаев: *“Куда ни пойдешь, повсюду аббаты и разнovidные монахи в своих белых, черных и коричневых рясах, а то кардинал в своем багровом облачении или какой другой вельможный прелат едет в высокой позлащенной карете на красных колесах, с нарядными гайдуками... Зайдешь куда в лавку, а там уж непременно торчит монах; пойдешь поутру бриться в цирюльню, а там уже сидят аббаты с намыленными щеками и подбородком, подвя-*

занные белыми салфетками. Раз дал я цирюльнику наточить мою бритву с черенком из слоновой кости; вместо этого возвратил он мне чужую, с черенком из дешевого костяного материала с нацарапанной надписью: «Padre Travaglini». Так и привез я с собою в Москву клерикальную бритву, которой я и пользовался до тех пор, пока с разрешения эмансипации перестал брить бороду».

В те месяцы Буслаев подружился с жившим почти напротив, на втором этаже («в бельэтаже») углового дома Via Sistina и нынешней Via Francesco Crispi, известным русским художником-гравером Федором Ивановичем Иорданом — другом Гоголя, долгие годы гравировавшим «Преображение» Рафаэля.

О своих прогулках по Риму Буслаев вспоминал:

«Бывало, присяду на камне у входа в так называемый «золотой дворец» Нерона, перед громадою Колизея, и читаю Тацита, а то заберусь в трущобы по ту сторону Фोरума и Палатинской горы и, воображая себя при самых началах римской истории, читаю у Ливия, как волчица кормила своими сосцами Ромула и Рема и как Нума Помпилий поучался премудрости от нимфы Эгерии, — и проходят тогда в моих мечтаниях вереницею Тулл Гостилий, Тарквиний Гордый и другие баснословные цари, в которых, еще по лекциям Крюкова, я прозревал длинные периоды доисторических времен. Я и тогда уже любил сказочные потемки народных преданий, на разработку которых впоследствии, будучи профессором, я положил немало труда».



Дом на углу Via Sistina и Via Francesco Crispi (современное фото). Сюда, в квартиру на втором этаже, к русскому художнику-граверу Ф. И. Иордану часто заходил Н. В. Гоголь. В 1874 г. здесь этажом выше жил Ф. И. Буслаев.

Главным чтением Буслаева в Риме в те месяцы были классические труды Винкельмана по истории искусства.

Буслаев: *«Мне было отрадно и лестно направлять свои прогулки по следам самого Винкельмана, будто в*

его сообществе, и воодушевлять себя его собственными впечатлениями, переживать в себе самом его ощущения и мысли, его увлечения и восторги... В тех же видах самовоспитания и самосовершенствования я любил отдыхать и освежать свою голову от ученых занятий в Сикстинской капелле и Ватиканских Стансах вовсе не с тем, чтобы изучать знаменитые фрески Микель-Анджело и Рафаэля, которые я уже знал во всех подробностях, а для того, как это казалось мне тогда возможным, чтобы войти в интимные, симпатические отношения с обоими великими художниками, чтобы проникнуться насквозь их гениальными помыслами, заглянуть в самое святилище их вдохновения... Чтобы понять такое расположение моего духа, прошу вас припомнить, что в мое далекое время еще верили в наитие свыше и чаяли себе таинственных откровений”.

Особенно любил Буслаев посещать римские церкви, которые, как сам считал, изучил лучше и подробнее московских. Он любил присутствовать при церковных обрядах и пышных церемониях, и чем больше он увлекался ими, тем, по его словам, для него все яснее становилась разница между римским католичеством и русским православием.

Буслаев: “Католичество отличается от нашего православия не только богословскими догматами, сколько своим потворством человеческим слабостям и прихотям, уловляя в свои сети суеверную паству прелестями изящных искусств в украшении церквей и разными пу-

стопорожными затеями ухищренных церемоний. Тогда храм становился в моих глазах театральною сценою, а церковнослужители превращались в искусных актеров... Не углубляясь в разногласия богословских трактатов, отделившие западное католичество от нашего православия, за отсутствием русских церквей, я усердно молился и в итальянских, ничего не находя в этом предосудительного для своей религиозной совести. Молятся же под открытым небом чумаки, остановясь со своим обозом на широком раздолье степей, или плавающие по морю на корабельной палубе”.

После рождественских праздников старший граф Строганов уехал в Москву, но благодаря его помощи у Буслаева появились в Риме важные знакомства, которые очень помогли ему действительно стать знатоком Рима и итальянской культуры. Среди них — Вентури, известный исследователь творчества Данте; Франческо Мази — заведующий отделом латинских рукописей Ватиканской библиотеки. У них Буслаев несколько раз в неделю брал уроки языка и учился читать итальянскую литературу. Не менее полезным оказалось для него знакомство с аббатом доном Антонио, который стал спутником в его повседневных прогулках по Риму. По воспоминаниям Буслаева, похожий на дона Базилио из “Севильского цирюльнике” в своей черной сутане и широкополой шляпе, дон Антонио “знал все и всех в Риме”, ибо “особе его звания был открыт доступ по всем углам и закоулкам общественной и частной жизни итальян-

цев, по всем ступеням их сословий, начиная от прелатов и высшей аристократии до подонков простонародья”.

Осенью 1840 г. в Рим приехал университетский товарищ Буслаева — В. А. Панов, который поселился в доме на Via Felice, № 126, и позднее познакомил Буслаева с живущим в соседних комнатах Николаем Васильевичем Гоголем. Самая первая встреча Буслаева с Гоголем кончилась, однако, курьезом.

Буслаев: *“Однажды утром в праздничный день сговорился я с Пановым идти за город, в виллу Альбани, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в Caffè Greco, куда в эту пору дня обыкновенно собирались русские художники. Когда явился я в кофейню, человек пять-шесть из них сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собой там, где стены образуют угол комнаты. Это было налево от входа. Собеседники болтали и шумели. Только в том углу сидел, сидел сгорбившись над книгою, какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился словом, ни на кого не обратил взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: «Ну, видел? Познакомился с ним? Говорил?» Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был он заинтересован”.*

В начале апреля 1841 г. Строгановы, а вместе с ними и Буслаев оставили Рим и отправились в Москву через Вену, Варшаву, Брест и Смоленск.

В следующий раз Ф. И. Буслаев оказался в Риме в октябре 1874 г. вместе с женой Людмилой Яковлевной Тронуевой. Они приехали туда из Франции — через Турин, Геную, Пизу, Флоренцию (где прожили около месяца), Сиену и Орвието. Буслаевы поселились на углу Via Sistina и площади Capo le Case в том самом доме, где ранее жил знакомый Буслаеву по Риму Ф. И. Иордан, и заняли в третьем этаже квартиру как раз над бывшей мастерской известного художника-гравера.

Буслаев ежедневно проходил мимо своего старого дома на углу Via Gregoriana и смотрел на “свои балкончики”, откуда более тридцати лет назад любовался видами Вечного города. О своем новом пребывании в Риме Буслаев потом вспоминал:

“Живя здесь по-московски, то есть как обыватели, а не путешественники, мы не торопимся осмотреть все достопримечательности вдруг, а наслаждаемся Римом и его живописными окрестностями исподволь, гуляючи”.

Удивительно, но “по странному и вовсе непредвиденному столкновению обстоятельств” Буслаеву и в этот раз пришлось давать уроки в семье Строгановых — на этот раз в доме Г. С. Строганова на Via Sistina (этот особняк, расположенный совсем рядом с церковью Trinita dei Monti, и сегодня известен в Риме как Palazzo Stroganov). В 1841 г. Григорию Строганову было двенадцать лет.

Теперь он, уже сорокапятилетний, снова жил в Риме с женою, взрослой дочерью и двенадцатилетним сыном Сережей, который, большую часть жизни проведя в Риме, плохо знал русский язык. Ему-то Буслаев и стал давать уроки русской словесности.

186

К Рождеству в Рим приехал старый граф Сергей Григорьевич Строганов, а также его сыновья Павел и Николай. С. Г. Строганов, чтобы не стеснять детей, остановился в гостинице на Испанской площади; раза два в неделю он заезжал за Буслаевым, чтобы вместе поехать по Риму.

Буслаев: *“Таким образом, обозревая римские достопримечательности под руководством графа Сергея Григорьевича и постоянно пользуясь его меткими указаниями, я вновь переживал свои молодые годы... И теперь, как тридцать три года назад, он часто бывал таким же моим учителем и наставником: так, например, в Кирхерианском музее иезуитского коллегіума он объяснял мне историческое значение и стиль бронзовых изделий Этрурии и в своей восьмидесятилетней старости еще настолько был дальнзорок, что посвящал меня в мельчайшие подробности этрусских орнаментов. Но и я в своей специальности, по византийско-русской иконографии, уже настолько опередил своего учителя, как и меня в то время опережали во многом мои ученики, что мог иной раз сообщить графу кое-что новое и для него интересно. Так, например, в крипте, или подземной церкви Св. Климента, папы римского, где похоронен славянский первоучитель Кирилл, я объяснял графу очевидные сле-*

ды византийского стиля в римских фресках XI столетия, изображающих житие Алексея Божьего человека и перенесение мощей св. Климента”.

24 января 1875 г. в Риме произошло важное событие: поездом из Чивитта-Веккиа в город прибыл Гарибальди. Очевидцы утверждали, что никогда не видели такого несметного стечения народа, какое собралось в тот день на площади перед вокзалом Термини, заполнило территорию терм Диоклетиана и всех прилегающих улиц на Квиринале.

187

Буслаев: *“Окна, балконы, террасы, крыши домов, верхи развалин — все было усеяно и покрыто народом; огромная площадь с бульваром казалась вымощенной вместо камня головами человеческими, и только линии экипажей в два, три, четыре и даже в пять рядов пересекали там и сям этот живой и волнующийся помост...”*



Джузеппе Гарибальди в Риме (февраль 1875 г.).

По малой мере минут десять шел Гарибальди от вагона к выходу со станции... Не успел еще он сесть в коляску, как уже из нее выпрягли лошадей и понесли ее на руках, и, как лодка по морю, тихо поплыла эта торжественная колесница над головами по крайней мере тридцатитысячной толпы... На козлах и подножках коляски поместились приближенные Гарибальди, вместе с ним прибывшие в Рим, а сам он, как древний герой, в триумфе вступающий в Рим, стоя на ногах, на обе стороны приветствовал толпу правой рукой, держа в ней свою голубую шапочку, вышитую золотом. На нем была красная рубашка, красный же платок на шее и сверху накинут белый плащ”.

Гарибальди предполагал остановиться на квартире своего сына Менотти, близ площади Навона, на Via delle Capelle, № 35. Однако, вместо ожидаемого всеми длинного пути через центр города, шествие направилось с площади Термини по глухой улице Св. Сусанны и, повернув к церкви San Nicollo di Tolentino, остановилось у гостиницы “Констанци”. Там на время было решено разместить измученного от усталости и волнений триумфатора (в 1875 г. он был уже стар и болен артритом), с тем чтобы потом в более спокойной обстановке перевезти его на квартиру сына. Толпа, однако (и в ней Ф. Буслаев), дождалась-таки, чтобы национальный герой Италии поприветствовал собравшихся с балкона отеля “Констанци”.

Проведя в Риме несколько месяцев, Федор Иванович и Людмила Яковлевна Буслаевы осенью 1875 г. возвратились в Москву.

И В А Н С Е Р Г Е Е В И Ч Т У Р Г Е Н Е В

189

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (9.11.1818, Орел — 3.09.1883, Буживаль, Франция) — писатель. Впервые приехал в Рим 9 марта 1840 г. в возрасте 21 года. Вошел в круг молодого философа и литератора Николая Владимировича Станкевича, с которым познакомился еще в студенческие годы в Берлине, где они вместе учились философии, истории и филологии. Станкевич (в конце мая 1840 г. он скончался от чахотки в городке Нови под Генуей) жил тогда на Cogso, № 71 и небольшой кружок молодых русских литераторов (Тургенев, Ховрин, Фролов, Ефремов) собирался по вечерам в его маленькой квартире. Часто встречались они и в знаменитом “Caffe Greco” на Via Condotti, 86, вблизи Испанской площади. В Риме Тургенев увлекся живописью и стал брать уроки рисования у художника Рундта. Вместе со Станкевичем, Ефремовым и Рунд-

том совершал прогулки на виллу Боргезе, к Колизею, на Капитолий, в христианские катакомбы на Via Appia, к гробницам Сципионов и Цецилии Мартеллы.

В известной биографии Тургенева, написанной в Париже в 1929–1931 гг., писатель Борис Константинович Заичев — сам хороший знаток Италии и Рима — писал:

“В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника. Ему нашелся превосходный со товарищ, друг и возждь — Станкевич. К Риму идет тонкий изящный профиль Станкевича, с длинными, набок заложенными кудрями, с огромным поперечным галстуком, благообразным рединготом... Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели... “Царский сын, не знавший о своем происхождении” (так называл друга впоследствии Тургенев), доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лацциума, вблизи “Афинской школы” и “Парнаса” Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидел, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда в этом патриции”.

24 апреля 1840 г. Тургенев покинул Рим и вместе с А. П. Ефремовым уехал в Неаполь, откуда вскоре через

Ливорно, Пизу и Геную отправился в Швейцарию и далее в Германию.

Снова посетить Италию И. С. Тургенев намеревался зимой 1856/57 г., которая во Франции, где тогда жил писатель, была необычно суровой. Однако в конце концов он так и не принял приглашения Николая Алексеевича Некрасова, жившего тогда в Риме. Весь 1857 год Тургенев находился в состоянии крайней депрессии — сложные отношения с французской певицей Полиной Виардо и застарелые болезни усугубляли творческий кризис. Тургенев писал тогда П. В. Анненкову из Парижа:

“Вернется ли ко мне охота писать и вера в свое умение — не знаю; но теперь я чувствую себя лопнувшим, как те белые грибы с зеленой начинкой, на которые то и дело наступаешь во время прогулки у нас в России. Слышится звук: пишит... И остается несколько вони в воздухе — вот и все...”

Примерно тогда же Тургенев писал из Парижа В. П. Боткину:

“Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в water-closet все мои начинания, планы и т. д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет — были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку! Это не вспышка досады... это выражение или плод медленно созревших убеждений”.

Наконец, осенью 1857 г. Тургенев решает ехать в Рим вместе с В. Боткиным. О причинах этого он, еще будучи во Франции, писал друзьям:

“Я с Боткиным еду в Рим, где проживу зиму и только на весну вернусь на родину. Причины, побудившие меня к такой внезапной перемене моих намерений, следующие: 1) соблазнительная мысль провести зиму в Италии, а именно в Риме, прежде чем стукнуло мне 40 лет и я превратился в гриб; 2) надежда, почти несомненная, хорошенько поработать. В Риме нельзя не работать — и часто работа бывает удачна; 3) боязнь возвратиться в Петербург прямо к зиме; 4) наконец, представившийся случай сделать это путешествие вдвоем с Боткиным” (Письмо Е. Колбасину); *“Что же касается до моего внезапного путешествия в Рим, то, поразмыслив хорошенько дело, Вы, я надеюсь, убедитесь сами, что для меня, после всех моих тревожных и мук душевных, после ужасной зимы в Париже тихая, исполненная спокойной работы зима в Риме, среди этой величественной и умирающей обстановки, просто душевспасительна”* (Письмо П. Анненкову).

Более подробно о причинах и обстоятельствах своей новой поездки в Рим Тургенев написал уже из Рима графине Е. Е. Ламберт:

“...Вместо Петербурга я попал в Рим — и раньше мая месяца в Россию не приеду. Отчасти это сделалось случайно: один мой хороший приятель отправлялся в Рим и пригласил меня с собою; но была также и причина, почему я так скоро согласился. В последнее время я вслед-

ствие различных обстоятельств ничего не делал и не мог делать; я почувствовал желание приняться за работу — а в Петербурге это было бы невозможно; меня бы там окружили приятели, которых бы я увидел с истинной радостью, но которые помешали бы мне (да я сам бы себе помешал) уединиться; а без уединения нет работы... Если я и в Риме ничего не сделаю — останется только рукой махнуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то по крайней мере человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет”.

17 октября 1857 г. Тургенев выехал с Боткиным из Парижа и через Марсель, Ниццу, Геную 30 октября приехал в Рим, где остановился в “Albergo Inghilterra” (“Hôtel d’Angleterre”) на Via Bocca di Leone, № 14. В этом знаменитом, существующем и сегодня отеле, расположенном в старом палаццо, построенном по проекту архитектора Антонио Санти, останавливались лорд Байрон, Шелли, Джон Китс, Генрик Сенкевич, Ференц Лист, Анатолий

Франс, Эрнест Хемингуэй, Феликс Мендельсон, Марк Твен, Ханс Христиан Андерсен, а также некоторые королевские особы.

О новых римских впечатлениях Тургенев пишет Е. Ламберт:

“Пока я наслаждаюсь Римом и его прекрасными окрестностями. Погода стоит чудесная; почти не веришь глазам, встречая в ноябре месяце только что распустившиеся розы. Но не столько поражают меня эти необыкновенности, как вообще весь характер здешней природы. Такая ясная, кроткая и возвышенная красота разлита всюду!”

Более всего нравились Тургеневу поездки по римским виллам (Villa Pamfili, Villa Madama и др.), которые он затем ярко описывал в письмах Анненкову.

О вилле Памфили: *“Третьего дня мы с Боткиным провели удивительный день в Villa Pamfili. Природа здешняя очаровательно величава — и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы”.*

О вилле Мадама: *“Мы много разъезжаем с Боткиным. Вчера, например, забрались мы в Villa Madama — полуразрушенное и заброшенное строение, выведенное по рисункам Рафаэля. Что за прелесть эта вилла — описать невозможно: удивительный вид на Рим, и vestibule такой изящный, богатый, сияющий весь бессмертной Рафаэлевской прелестью, что хочется на колени стать. Через несколько лет все рухнет — иные стены едва держатся;*

но под этим небом самое запустение носит печаль изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха: “Печаль моя светла” — одинокий, звучно журчавший фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний — и чище, и нежнее звучат в ней художественные струны”.

Вместе с тем же В. Боткиным Тургенев совершает и более дальние путешествия — в Альбано и Фраскати; в конце зимы на несколько дней едет в Неаполь.

Несмотря на обычную крайнюю разборчивость в отношениях (“из 50 заграничных русских лучше не знакомиться с 49-ю”, — часто повторял он), Тургенев в эту зиму заводит много новых знакомств в Риме. Чаще всего он посещает дом великой княгини Елены Павловны (“она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и не стесняться; на конце каждого ее слова сидит как бы штопор — и она все пробки из вас таскает: оно лестно, но под конец немного утомительно”). Бывает Тургенев и в римских домах русских князей Владимира Черкасского и Дмитрия Оболенского. В этот свой приезд в Рим Тургенев знакомится с живописцем Александром Андреевичем Ивановым (“замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий”), к тому времени закончившим в Риме грандиозное полотно “Явление Христа народу” (“по глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная”). Менее ценит Тургенев других своих знакомых из числа

русских художников — Худякова (“талант есть, но сам он необразован, завистлив и надут”), Сорокина (“приятный как человек; таланта у него, к сожалению, нет”) и т.д.

Между тем приливы депрессии продолжают мучить Тургенева.

Из писем Анненкову: *“Вы меня хвалите за мое намерение прожить зиму в Риме. Я сам чувствую, что эта мысль была недурная, — но как мне тяжело и горько бывает, этого я Вам передать не могу. Работа может одна спасти меня, но если она не дастся, худо будет! Прошутил я жизнь, — а теперь локтя не укусишь. Но довольно об этом. Все-таки мне здесь лучше, чем в Париже или в Петербурге”; “Увы, я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть в то, что я делаю, а то кому оно будет нужно? Да и самому мне оно будет противно”.*

В Риме Тургенев продолжает жить под впечатлением своих непростых отношений с Полиной Виардо. Одна из римских знакомых писателя вспоминала:

“Раз сидим мы с ним в Риме на Пинчио. Проезжает мимо нас в коляске дама, похожая немножко на нее <Виардо>, так он, как сумасшедший, вскочил и бросился за коляской, конечно, не догнал, вернулся запыхавшись и после все мне расписывал, какая она, должно быть, необыкновенная женщина, судя по наружности...”

Однако, несмотря ни на что, римская зима оказалась плодотворной и в творческом отношении, по-видимому, переломной для Ивана Сергеевича Тургенева. В конце 1857 г. он закончил в Риме работу над повестью “Ася” и отослал готовую рукопись в “Современник”. Успех “Аси” в России сильно вдохновил его, что явствует из письма Анненкову:

“Отзыв в ваш об «Асе» меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спасишь на берег — пока сушил «ризу влажную мою», — а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая — после долгого перерыва — работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная, и я искренне этому радуюсь”.

В январе 1858 г. Тургенев начинает в Риме работу над повестью “Первая любовь” и романом “Дворянское гнездо”; одновременно он сотрудничает с журналом Е. Корша “Атеней”, куда пересылает свои корреспонденции об Италии.

Об этом, втором посещении Тургеневым Рима Борис Зайцев написал в книге “Жизнь Тургенева”:

“Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма... Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синееющие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita dei Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик,

тишина Кампаньи, фонтаны, сивиллы, таинственная прахообразность земли — все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. “Рим — удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь”. Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности — именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал”.

Болезнь, однако, заставила Тургенева покинуть Рим вопреки его желанию и планам:

“Как же мне не пенять на судьбу, наградившую меня таким мерзким недугом, что по милости его я превращаюсь в Вечного Жида. После двухмесячной борьбы я с сокрушенным сердцем принужден оставить милый Рим и ехать черт знает куда — в поганую Вену советоваться с <доктором> Зигмундом. Здешний климат развил мою невралгию до невероятности, и доктор меня сам отсюда прогоняет. Ну скажите, не горько ли это? Не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда...”

14 марта 1858 г. И. С. Тургенев выехал из Рима во Флоренцию, а затем через Геную, Милан и Триест — в Вену. Между тем в своих “Литературных воспоминаниях” П. Анненков изложил свою версию отъезда Тургенева из Рима:

“Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, — тут была

еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как ни любил ее. Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты... Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежат сомнению... Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеянных Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования... Замечательно, что с 1858 года он уже никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию”.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ

200

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ, граф (25. 08. 1786, Москва — 4. 03. 1855, Москва) — государственный и общественный деятель. Попечитель Московского учебного округа, президент Российской Академии наук (1818-1855), министр народного просвещения (1833-1849). Сочинял стихи, с легкостью изъяснялся на семи языках, был признанным в Европе эссеистом на философские и литературные темы. Удалившись на покой, получил степень магистра классической филологии Дерптского университета.

Будучи убежденным консерватором в своей официальной политической линии (известна его классическая триада для России: “самодержавие, православие, народность”), Уваров в повседневном общении был достаточно либерален. В своем имении в Поречье под Мо-



Испанская лестница и церковь Св. Троицы (фото начала XX в.).

жайском он создал свободную и благоприятную атмосферу для своих гостей — университетских профессоров, литераторов, которые часто сравнивали Поречье с “русскими Афинами”, “платоновской Академией”. Главный зал усадьбы, спроектированный и построенный архитектором-итальянцем в сотрудничестве с Карлом Брюлловым, был отведен под “храм искусства”. В библиотеке усадьбы стояли бюсты Рафаэля, Микеланджело, Данте, Тассо, Ариосто, Макиавелли. Библиотека насчитывала двенадцать тысяч томов.

Один из участников “пореченских дискуссий”, Г. А. Щербатов (будущий попечитель Петербургского учебного округа), вспоминал об Уварове:

“Он был общителен, любил возбуждать прения, слушать чужие речи не по долгу учтивости, но с желанием самопроверки, и не признавал невежами только тех, которые, при однородных с ним условиях просвещенного и развитого ума, тем не менее могли с ним расходиться во взглядах по вопросам спорным. Я лично был тому свидетелем”.

Граф С. С. Уваров посетил Рим (а также Венецию) в 1843 г. в пятидесятилетнем возрасте. Годом позже в своем имении Поречье он написал на французском языке воспоминания об этом путешествии — “Рим и Венеция в 1843-ем году” (в данной книге используется главным образом перевод М. Ровберга).

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

203

Александр Иванович Герцен (6. 04. 1812, Москва — 21. 01. 1870, Париж) — писатель, философ, публицист, общественный деятель. С 1847 г. — в эмиграции. В своих “Письмах из Франции и Италии” писал, что к осени 1847 г. ему в Париже сделалось “невыносимо тяжело”:

“Хотелось моря, теплого воздуха, пышной зелени и людей — не так истасканных, не так выживших из сердца... В Италию, в Италию!”

В Ницце Герцен получил рекомендательное письмо от своего друга И. П. Галахова к старожилу русской колонии в Риме — художнику А. А. Иванову, живущему в Риме с 1830 г.:

“Почтеннейший Александр Андреевич! Рекомендую вам близкого мне приятеля и москвича, Александра Ивановича Герцена. Познакомившись, оба увидите, как далеко

может идти ваше знакомство; я могу только заверить, что г. Герцен с участием и признательностью воспользуется вашей одолжительностью, которой в Риме для опытного художника немало повода...

Для поездки в столицу Папского государства Герцен получил в Генуе визы тамошнего полицейского управления и главного папского консульства в Генуе, разрешающие въезд в Рим через портовый город Чивитта-Веккиа. В Чивитта-Веккиа были проставлены также визы местного русского императорского консульства и городского управления полиции.

А. И. Герцен приехал в Рим 28 ноября 1847 г. и поселился в доме № 18 по Via del Corso — этот адрес прославится благодаря ставшим известными всей революционной Европе герценовским «Письмам с Виа дель Корсо». В большой квартире на третьем этаже разместилась семья Герцена: сам Александр Иванович, его жена Наталья Александровна, сыновья Саша и Коля, дочь Наталья и их воспитательницы.

Первое, что поразило Герцена в Риме, — это местная зима:

«Доселе здесь настоящее лето, иногда протапливается камин вечером, но днем дамы гуляют в соломенных шляпах и кисейных платьях. Говорят, что в феврале полная весна, — когда же зима?»

Что же касается самого города, то Рим поначалу не произвел на Герцена особо приятного впечатления. Но уже через некоторое время он пишет:

«Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем большее внимание сосредотачивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырезаются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее».

Благодаря рекомендательному письму Галахова Герцен знакомится с Александром Ивановым, но при первой же встрече они едва не поссорились из-за отношения к «Переписке с друзьями» Н. В. Гоголя — книге, вызвавшей раскол в среде русской интеллигенции. А. А. Иванов книги еще не читал, но был, как известно, близким другом Гоголя, с которым долгие годы едва ли не ежедневно общался в Риме. Герцен же, напротив, прочитал «Переписку» Гоголя очень внимательно и, по его собственным словам, считал эту книгу «преступлением», «предательством русского европеизма и свободолюбия». Иванов немедленно информировал о состоявшемся разговоре самого Гоголя, жившего тогда в Неаполе. Гоголь достаточно быстро ответил:

«Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима...»

В середине декабря 1847 г. в Рим приехал близкий друг Герцена — А. А. Тучков (генерал, бывший участник тайных декабристских обществ) с женой и двумя дочерьми — Еленой и Натальей (будущей женой Н. А. Огарева, а потом Герцена). В течение многих недель, проведенных в Риме, Герцены и Тучковы, поселившиеся неподалеку — в гостинице “Император” на Via del Babuino, были неразлучны.

В те месяцы римляне возлагали большие надежды на нового Папу-реформатора Пия IX. Именно с упованиями на реформаторство нового Папы во многом связаны знаменитые строки Герцена из “пятого письма с Виа дель Корсо”:

“Я нравственно выздоровел, переступив границу Франции, я обязан Италии обновлением веры в свои силы и в силы других. Многие упования снова воскресли в душе. Я увидел одушевленные лица, слезы, я слышал горячие слова. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальянскому — дворцу и хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях”.

Герцен несколько раз специально ходил на папские службы (в Квиринальскую капеллу, в патриаршую церковь Santa Maria Maggiore):

“Мне очень хотелось прочесть на лице этого человека, поставленного во главу не только итальянского движения, но европейского, какую-нибудь мысль, словом, что-

нибудь, и я ничего не прочел, кроме добродушной вялости и бесстрастного спокойствия...”

В Риме Герцен брал уроки итальянского языка у одного из революционных лидеров, Э.-Л. Гонзалеса. Язык давался ему легко, так как он уже учил итальянский еще во время московского ареста в Крутицких казармах. В те месяцы Герцен осматривает Форум, Колизей, Капитолий, Ватикан, многочисленные дворцы и картинные галереи. По его словам, он выработал определенный метод осмотра:

“Я обыкновенно ходил к двум-трем картинам, а с прочими встречался, как с незнакомыми на улице, — может, они и хорошие люди, может, дойдет черед и до знакомства с ними, ну а пока пусть себе идут мимо...”

Особое впечатление произвели на Герцена фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, куда он ходил много раз, но никак не мог до конца проникнуться замыслом великого художника:

“Чем больше приглядываешься к великому произведению, тем меньше удивляешься ему; это-то и необходимо, удивление мешает наслаждаться. Пока картина или статуя поражает, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, не возвысились до нее, не сладили с нею, она вас подавляет, а быть подавленному величием — не высокое эстетическое чувство. Пока человек еще поработан великим произведением, произведения более легкие доставляют более наслаждения, потому что они соизмеримее, даются без труда, в каком бы расположении человек ни был”.

Герцен вспоминает в мемуарах тот день, когда, как ему показалось, он, наконец, “прорвался” к пониманию гениального замысла Микеланджело:

“Я очень долго не мог сколько-нибудь отчетливо сладить с “Страшным судом”, меня ужасно рассеивали частные группы, к тому же картина довольно почернела, и я все попадал в капеллу в туманные дни. Как-то на днях, выходя вон из капеллы, я остановился в дверях, чтоб посмотреть еще раз на картину, — первое, что меня остановило на этот раз, было лицо и положение Богородицы. Христос является торжествующим, мощным, непреклонным, синий цвет остановившейся молнии освещает его; давно умершие поднялись, все ожило — начинается суд, кара, и в это время существо кроткое, испуганное окружающим, робко прижимается к нему, смотрит на него, и в ее глазах видна мольба, не желание справедливости, а желание милосердия. Как глубоко понял Буонаротти христианский смысл Девы! Вот она, всех скорбящих заступница, готовая своей робкой рукой остановить поднятую руку сына, и когда от этой группы я стал переходить к окружающему, огромная картина сплавилась в нечто единое, бесконечное множество фигур со стороны, по бокам, получили смысл, которого я прежде не мог понять...”

Именно шедевры Ватикана, который он не считал обычной галереей искусств, подвинули Герцена в его “Письмах из Италии” сформулировать разгадку “величия Рима”:

“Великая сторона Рима — это обилие изящных произведений, той гениальной оконченности, той вечной красоты, перед которой человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел, и примиренный со многим — так, как это было со всеми людьми в самом деле, приходившими со всех концов мира на поклонение изящному в Ватикане... и так, как это будет со всеми людьми грядущих веков до тех пор, пока время пощадит эти великие залогов человеческой мощи. Когда мучительное сомнение в жизни точит сердце, когда перестаешь верить, что люди могли быть годны на что-либо путное, когда самому становится противно и совестно жить, — я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится и снова что-нибудь благословит в жизни”.

Однако политические события заслонили собой величественные красоты классического Рима. В середине января Герцен 1848 г. узнает о начавшемся народном восстании на Сицилии.

“Новость эта, — писал он, — как толчок землетрясения, двинула Рим; с этого дня физиономия Рима переменилась, он вступил в новую фазу пробужденья”.

В связи с революционными событиями в Королевстве обеих Сицилий в Риме начинаются массовые манифестации с иллюминацией. Герцен участвует в народных шествиях, регулярно посещает Кафе изящных искусств (Caffe delle Belle arti), где собираются деятели культуры; Римский кружок (Circolo Romano) на Via del

Corso (место встреч либерального дворянства и буржуазии); Народный кружок (Circolo Popolare), где собираются революционно настроенные ремесленники и рабочие. Наталья Александровна Герцен позднее писала Грановскому об этих неделях:

“Лучшее время было в Италии... сколько любви, сколько надежд!.. Все существо кипело деятельностью, в комнате делалось неловким оставаться, мы были дома на улице. Там встречались все как родные братья”.

В начале февраля с женой, сыном Сашей и Тучковыми Герцен на несколько недель ездил в революционный Неаполь, а когда он в самом начале марта вернулся в Рим, пришла весть о начале революции во Франции. По его собственным словам, тогда, в ночь с 3 на 4 марта, он был в маскарade в театре “Tog di None”, и там “часу во втором какой-то римлянин объявил присутствующим об изгнании Луи-Филиппа и о провозглашении республики во Франции. Известие было встречено восторженно”.

В середине марта вслед за народным восстанием в Вене происходит революция в Милане — столице Ломбардии, находившейся тогда под владычеством австрийского императора. Герцен вместе с римлянами участвует в демонстрации перед австрийским посольством, которое находилось в Palazzo Venezia:

“Народ бросился с остервенением на герб, все наблевшее на душе его от австрийцев выразилось в злобе, с которою топтали, ломали ненавистный герб притесне-

ния... Шествие дошло до Пьяцца дель Пополо, там сожгли его <герб> на большом костре...”

23 марта Герцен вместе с демонстрантами отправляется от Piazza del Popolo к Колизею, где присутствует на революционном митинге:

“Я не видал в жизни моей зрелища более торжественного, более величественного. Форум и Колизей были освещены заходящим солнцем... несметная толпа покрывала середину; на арках, на стенах, в ложах толпились люди”.

В те дни в Риме Герцен поддерживает создание революционного ополчения, приветствует провозглашение республики в Венеции. Его, однако, тянет Париж — по мнению Герцена, судьба Европы решается именно там. О последних днях своего пребывания в Риме он писал так:

“С утра бежишь на Корсо слушать выдуманные и невыдуманные новости... Таким взволнованным, оживленным и ждущим необыкновенного еду из Рима”.

28 апреля 1848 г. Герцен выехал из Рима в Париж через Чивитта-Веккиа, Ливорно, Марсель. Позднее в “Былом и думах” он написал:

“Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне было жаль ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей...”

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

212

Николай Алексеевич Некрасов (10.10.1821, Немирово, Подольской губ. — 8. 01.1878, Петербург) — поэт, журналист, издатель. В августе 1856 г. выехал для лечения за границу: из Петербурга морем до Штеттина, потом поездом 3 часа до Берлина, далее поездом 21 час — до Вены, где его встретила приехавшая туда из Италии Авдотья Яковлевна Панаева. Венские врачи признали состояние Некрасова серьезным и рекомендовали провести зиму в Италии. Из Вены Некрасов вместе с Панаевой добрались поездом 14 часов до Лейбаха (Некрасов: “Эта дорога чудо из чудес!”), потом почтовым экипажем 18 часов до Триеста (“экипажи и лошади подлейшие, везут скверно”). Из Триеста до Венеции плыли 6 часов на пароходе. Пробыв неделю в Венеции, Некрасов и Панаева выехали

во Флоренцию: до Падуи 2 часа поездом, потом 36 часов в дилижансе. Пробыв несколько дней во Флоренции, они отправились почтовой каретой в Рим — этот путь занял еще 36 часов.

2 октября 1856 г. Некрасов и Панаева приехали в Рим, где остановились на Via del Corso, № 453. В письме И. С. Тургеневу 29 октября в Куртавнелъ Некрасов писал о своих римских впечатлениях:

213

“Рим мне тем больше нравится, чем более живу в нем, — и я твержу про себя припев к несуществующей песенке: Зачем я не попал сюда, здоровей и моложе? — Да, хорошо было бы попасть сюда, когда впечатления были живы и сильны и ничто не засоряло души, мешая им ложиться. Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости, — в ком есть что-нибудь непошрое, в том оно разовьется здесь самым благодатным образом, и он навсегда унесет отсюда душевное изящество, а это понужней цинизма и растления, которым дарит нас щедро родная наша обстановка. Но мне, но людям, подобным мне, я думаю, легче вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте, — и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром, — верю теперь, что на чужбине живее видишь родину. Только от этого не слаще и злости не меньше. Все дико устроилось в русской жизни, даже манера уезжать за границу, износивши душу и тело... Зачем я сюда приехал!.. Под этим впечатлением



забрался я третьего дня на купол Св. Петра — и плюнул оттуда на свет Божий — это очень пошлый фарс — по-смейся”.

Видимо, именно это письмо Тургенев прокомментировал в письме из Парижа А. И. Герцену 12 декабря:

216

“Кажется, он <Некрасов> хандрит и скучает в Риме. Он и в России скучал, но не так едко; плохо умному человеку, уже несколько отжившему, но нисколько не образованному, хотя и развитому, плохо ему в чужой земле, среди незнакомых и неизвестных явлений! Он чувствует смутно их значение, и тем больше разбирает его досада и горечь не бессилия, а невозвратно потерянного времени”.

Герцен был согласен с Тургеневым — известна его ироническая фраза о Некрасове:

“Некрасов в Риме... это звучит вроде шуки в опере”.

Некрасов звал Тургенева приехать на зиму в Рим (зима 1856/57 г. в Париже была необычно суровой), обещая сменить квартиру и взять лишнюю комнату для Тургенева:

“Жить зиму буду в Риме; теперешняя моя квартира не на солнце; ищу другую — и возьму такую, чтоб была лишняя комната для тебя, коли ты найдешь удобным у меня поселиться”.

Некрасов действительно перебрался на новую квартиру — как раз с окнами на юг по адресу: Piazza di Spagna, № 32 (дом этот, рядом с Palazzo Borgognoni, существует и сегодня). Однако в тот раз Тургенев так и не решился выехать из Парижа в Италию: он приедет в Рим на сле-

дующую зиму. Зато Некрасов дождался в Риме приезда другого своего друга — поэта Афанасия Афанасьевича Фета, который приехал в Италию вместе с сестрой и поселился рядом с Испанской площадью на Via delle Carozze. Оба заядлые охотники, Некрасов и Фет организовали в окрестностях Рима охоту на вальдшнепов.

217

Тем временем из России приходят сообщения о большом успехе сборника стихотворений Некрасова: полторы тысячи экземпляров разошлись в две недели — такого не бывало со времен Пушкина. Эти сообщения и, по видимому, сама обстановка Рима вдохновили Некрасова. В ноябре-декабре 1856 г. он активно работает в Риме над поэмой “Несчастные” (так в народе называли в России политических преступников — каторжан и ссыльнопоселенцев). Тема эта давно волновала поэта, но ранее была запрещенной; политическая амнистия была объявлена в России Александром II только в августе 1856 г.

В конце ноября Некрасов сообщал Тургеневу:

“Я не писал к тебе потому, что работал. 24 дня ни о чем не думал я, кроме того, что писал. Это случилось в первый раз в моей жизни — обыкновенно мне не приходилось и 24 часов остановиться на одной мысли”.

Поэма “Несчастные” — одно из самых сильных и в то же время загадочных произведений Некрасова. Существует версия, что она задумана как антитеза “Медному всаднику”, и ее центральным сюжетом, как и у Пушкина, является противостояние героя и “рокового города”, “имперской столицы”. Если это так, то некрасовская интер-

претация образа Петербурга явно навеяна тогдашним Римом — к тому же сам Некрасов неоднократно писал, что тот ноябрь “был в Риме дурен и холоден”, “как подует ветер широко, так от волнения грудь теснит” и т.д.

218

*...Воображенье
К столице юношу манит,
Там слава, там простор, движенье,
И вот он в ней! Идет, глядит —
Как чудно город изукрашен!
Шпили его церквей и башен
Уходят в небо; пышны в нем
Театры, улицы, жилища
Счастливец мира — и кругом
Необозримые кладбища...
О город, город роковой!*

Между тем в середине декабря до Некрасова доходят из Петербурга тревожные сообщения: его стихи вызвали недовольство в придворных и правительственных кругах. Пошел слух, что власти намерены закрыть редактируемый им журнал “Современник”, а самого поэта заключить в Петропавловскую крепость. Эти сообщения так взволновали Некрасова, что он, по его собственным словам, “скомкал поэму” и “не сделал половины того, что думал” (впоследствии, поскольку само название “Несчастливые” было запрещено цензурным комитетом, стихотворение было опубликовано в “Современнике” под заглавием “Эпизод ненаписанной поэмы”).

219

В декабре-январе в Риме наступила хорошая погода: “Здесь воздух чудо — тепло, как летом”. В начале января Некрасов, по-видимому, все еще надеясь на приезд Тургенева в Рим, писал ему:

“Благотельная сила этого неба и воздуха точно не фразы. Я сам черт знает в какой ломке был и теперь еще не совсем угомонился, — и если держусь, то убежден, что держит меня благодать воздуха...”

Не дождавшись Тургенева, Некрасов сам 20 января 1857 г. выехал из Рима и через Чивитта-Веккиа и Ливорно отправился во Францию и 6 февраля приехал в Париж. 22 февраля 1857 г. он столь же неожиданно покидает Париж и 26 февраля возвращается в Рим. В начале марта он пишет Тургеневу в Париж:

“Вчера гулял на лугу, свежо зеленеющем, в вилле Боргезе и собирал первые цветы! На душе хорошо”.

Узнав, что его друзья, В. Боткин, Дружинин и Григорович, также собираются ехать в Италию, он предлагает им свой вариант маршрута, рекомендует итальянские вина “Orvietto” и “Aliatica di Firenze” (“недороги, легки, и выпить можно ведро — безвредно для здоровья”), а также советует, как следует осматривать итальянские достопримечательности (“только подступайтесь исподволь, не обращайтесь в смотрительную машину, а то оскомину набьете”).

15 марта 1857 г. Некрасов уехал из Рима в Неаполь (там он прожил три недели, поднимался на Везувий с Н. Боткиным и другими знакомыми), а 6 апреля 1857 г., к пасхальным праздникам, возвратился в Рим.

“Все эти дни я смотрел разные религиозные дивы, подобных которым нигде нельзя увидеть, кроме Рима, — писал он Л. Н. Толстому. — Сейчас воротился с самой эффектной церемонии. Папа с балкона благословлял народ и кидал буллы. Огромная площадь Св. Петра битком была набита народом и экипажами. Зрелище удивительно красивое — в размерах колоссальных. Сегодня вечером Св. Петр будет весь мгновенно освещен — пойду смотреть”.

23 апреля 1857 г. Некрасов выехал из Рима во Флоренцию, затем во Францию, а потом в Россию. В стихотворении “Тишина” (1857), которое он начал писать в Риме, есть такие строки:

*Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слышали
Ни римский Петр, ни Колизей!*

Следующий раз Н. А. Некрасов оказался в Риме лишь через десять лет — весной 1867 г. Тогда он путешествовал по Европе вместе с сестрой, А. А. Буткевич, и артисткой французского (Михайловского) Санкт-Петербургского театра Селиной Лефрен-Потчер. В Ницце, где Некрасов собирался поработать, дамы уговорили его ехать в Рим.

Они наняли “веттурино” (возницу) с коляской четверней и в четверг 25 апреля выехали из Ниццы: по береговой полосе несколько суток через Геную до Специи, потом — поездом до Флоренции. Оттуда Некрасов писал Л. А. Еракову:

“Поеду ли в Рим, не знаю, может быть, отправлю одних дам, а сам примусь за работу. Просто хочется работать, и каждый день просыпаюсь с каким-то чувством, похожим на сожаление 50-летней женщины о потере своей невинности. Но напьешься — и как рукой сняло! Это хорошо — не правда ли? А что еще в нас лучше, это то, что, находясь среди превосходной горной природы, мы не забываем отечества. И в сию минуту передо мною икра и селедка, только что купленные, и мы сейчас намерены на деле доказать свой патриотизм”.

Путешественники побывали еще в Неаполе, а 24 мая 1867 г. прибыли в Рим. Об этом пребывании Н. А. Некрасова в Риме сведений совсем немного: известно только, что он несколько раз посещал дом живописца В. И. Якоби (автора известной картины “Привал арестантов”) и его супруги А. Н. Якоби (детской писательницы и “русской гарибальдийки”), а также общался с некоторыми другими русскими художниками и скульпторами, жившими тогда в Риме, — А. А. Поповым, В. Л. Верещагиным, А. А. Рацциони, П. П. Чистяковым, Н. А. Лаврецким.

ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ
АКСАКОВ

222

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ (26. 09. 1823, с. Надеждино Оренбургской губ. — 27. 01. 1886, Москва) — публицист, поэт, общественный деятель. Окончил Санкт-Петербургское Училище правоверения. Служил чиновником в Правительствующем сенате и Министерстве внутренних дел; по служебным делам объездил многие города России. В 1855 г. участвовал в ополчении в Крымской войне. Посвятил себя литературно-издательскому труду.

После смерти императора Николая I и воцарения Александра II выезд русских за границу был значительно облегчен. Воспользовался этой возможностью и Аксаков: в 33-летнем возрасте он впервые отправился в большое европейское путешествие, чтобы, наконец, “завершить свое бродяжничество и приняться за серьезное

Испанская площадь, рядом с которой Иван Аксаков жил в мае-июне 1857 г.



дело”. В середине марта 1857 г. выехал из Петербурга в Германию, потом некоторое время жил в Париже, откуда, с соблюдением предосторожностей, ездил в Лондон к лидеру русской эмиграции А. И. Герцену. Затем, через Орлеан, Лион и Марсель отправился в Италию. В те дни он писал родным:

“Я не боюсь зноя, напротив, люблю его; ехать прямо в Италию из России мне просто не хотелось; меня в большей степени, чем Италия, интересовала жизнь и быт действующих народов. А теперь я с большим наслаждением туда отправлюсь”.

На пароходе между Генуей и тосканским портом Ливорно Аксаков встретился с художником Н. Н. Ге (многие годы жившем в Италии), которому и рассказал о своем “тайном” визите к Герцену. Ге потом вспоминал:

“По дороге, между Генуей и Ливорно, на пароходе, мы познакомились с Аксаковым, Иваном Сергеевичем... С И. С. мы разговорились. Оказалось, что он ехал из Лондона, что он был у Герцена; он возил свою запрещенную комедию, чтоб напечатать у Герцена... Мы с Аксаковым подружились и поехали вместе до Флоренции; остановились в одном отеле... Мы расстались во Флоренции. Ни разу потом мы не встретились. Но память о нем оставалась во мне неизменною”.

Из Флоренции Аксаков на почтовом дилижансе приехал в середине мая 1857 г. в Рим, где поселился в районе Испанской лестницы в отеле “Allemagne” на Via Condotti, 88. Католический, “папский” Рим не произвел на бу-

дущего лидера русского славянофильства положительного впечатления — его увлекла римская античность:

“Если же вы отправитесь в Колизей, то будете совершенно счастливы. Какой тут храм Св. Петра! В Рим надо ехать прежде всего для Колизея, для Пантеона, для его развалин. Красноречивее языка я не знаю! Древний мир отдален от вас, вы не вносите в него современных вопросов, вы не оскорблены, как в храме Петра или в картинных галереях, безобразием идолопоклонства в области христианской под видом человечества, угнетенного пленом духовным... Вы свободно принимаете в себя впечатления древнего мира; его мощный язык вещает вам про могучую жизнь, вполне нашедшую себе выражение, прочно пожившую. Как после древних статуй вам противно заглянуть в мастерскую современного скульптора, наполненную нимфами, венерами и вакханками, и так же жалок делается вам современный скульптор, твердящий зады искусства, жившего законно 20 веков тому назад, так и после Колизея и Ватиканского музея антиков вам кажется жалким и Св. Петр, и Моисей Микель-Анжелло, и все вены и авроры...”.

За две недели Аксаков буквально сроднился с “вечным городом”, несколько раз выезжал в окрестности Рима:

“Вы скоро свыкаетесь с внешней жизнью Рима, и даже бесцеремонность уличной жизни итальянцев, это внешнее неблагоустройство нравится вам после аккуратной чистоты немецких городов, после холодного адми-

нистративного порядка французов. Как разнообразны впечатления Рима!.. Какой воздух, какой свет и блеск в итальянском воздухе, вы себе и представить не можете! Я осматриваю и почти даже осмотрел Рим как-то очень удачно, толково, лучше, чем какой-либо город. Видел почти все сколько-нибудь замечательные развалины и древности; был за городом, во Frascati, Albano, был в виллах и palazzo, переглядел тысячи картин и фресок, и если не изучил Рима, не изучил искусства, то все же, кажется, вынес не смутное представление обо всем, мною виденном”.

Зная из переписки с родными, что его письма из Италии активно читаются и обсуждаются в славянофильских кругах в Москве, Аксаков делился не только путевыми наблюдениями, но и делал серьезные культурологические обобщения:

“Как надоела мне «Madonna con Bambino»! В иную залу войдешь: сотня мадонн! Понятно, что за нее преимущественно ухватилось искусство; оно в ней гармонировало с католическим верованием. Католика, при его взгляде на Мадонну, при его верованиях, не оскорбляет то, что оскорбляет православного — при большей духовности его веры, или протестанта, способного понять это противоречие силою отвлеченного разума”. Символ папского Рима — Собор св. Петра представляется Аксакову храмом языческим, и он с иронией пишет о посещении его православными русскими: “Христианского в этом храме нет ни тени. Я не понимаю, как Гоголь мог здесь молиться; тут разве только Николай Павлович <недав-



но скончавшийся император Николай I > мог молиться. Вверху купола или, вернее, в стенах шишки, на которой стоит крест, там, где стоять даже нельзя прямо, читал я чувствительную надпись: «Был здесь Николай и молился о благоденствии матушки-России!». Св. Петр храм языческий, созданный даже по образцам языческим, но в память папства, во славу папства”.

В начале июня 1857 г. Аксаков отправился из Рима дилижансом в Неаполь, посетил Геркуланум и Помпеи, был на Везувии, ездил в Амальфи. В середине июня 1857 г. отплыл пароходом из Неаполя в Геную; провел несколько дней в Венеции, а затем, через Швейцарию и Германию, отправился в Россию.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

228

БОРИС Николаевич Чичерин (26.05.1828, Тамбов — 3.02.1904, Москва) — правовед, философ, историк, мемуарист. Выходец из богатого тамбовского рода, ведущего происхождение от итальянца Чичерини, приехавшего в 1472 г. в Москву в свите Софии Палеолог, дочери последнего византийского императора, выходящей замуж за русского царя Ивана III.

Окончил юридический факультет Московского университета. Под влиянием Т.Н. Грановского сформировался как русский “западник”, крайне критично относящийся к идеям “самобытности”:

“Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви... Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влия-

229

нию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал... Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом; и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другого”.

В 1857 г., с ослаблением в России цензуры после смерти императора Николая I, защитил, наконец, магистерскую диссертацию, посвященную областным учреждениям России XVII в. Тогда же, с благословения и на деньги отца, решил предпринять большое заграничное путешествие для изучения политики и культуры европейских стран.

В Предисловии к своим воспоминаниям о заграничной поездке 1858–1861 гг. Борис Чичерин написал:

“В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, держащему преступить священные пределы отечества... Но с новым царствованием и с заключением мира <после Крымской войны> все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему тече-

нию. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи — все это я жаждал видеть своими глазами: я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете”.

В мае 1858 г., через Варшаву и Вену, Чичерин отправился в Италию, где в Турине (столице Сардинского королевства) в русском посольстве работал его брат Василий. Уже небольшое путешествие на корабле от Триеста в Венецию привело Чичерина в восторг:

“Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видел ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии”.

После Турина были Ницца, озера Северной Италии, Швейцария, путешествие по Рейну, Лондон (где Чичерин посетил А. И. Герцена), Париж, снова Ницца. Чичерин потом вспоминал:

“Проживши здесь (в Ницце) около месяца, мы с братом Сергеем поехали прямо в Рим, который был предметом самых пламенных моих стремлений. Я столько о нем слышался, что ожидал обрести там все, что может наполнить душу человека и вознести его в идеальные области искусства и поэзии. Действительность превзошла все мои ожидания. Я увидел здесь воочию всю историю человечества, и древность, и средние века, и новый мир,

как бы слитые воедино и представленные в живых образах и в чудной гармонии. Прежде всего, я, разумеется, побегал на Форум. Я ступал по почве, где волновались свободные граждане Рима, с их консулами и трибунами, где ратовали Циципионы и Гракхи, Цицерон и Цезарь. Передо мною лежал священный путь, по которому двигались триумфаторы, Фабиции, Фабици, Цинцинаты. Я стоял на Капитолии, в центре римского могущества и славы. Тут заседал римский сенат, величайшее политическое собрание в истории, который в течение многих веков наполнялся славнейшими именами, руководитель политики, покорившей целый мир. Я видел Тарпейскую скалу, с которой сброшен был Манлий. Весь республиканский мир, с его суровыми доблестями, с его железною энергиею и все возрастающим величием, основанным на любви к свободе и на беспредельной преданности отечеству, восставал из пепла передо мною. Все мои классические воспоминания, мечты свободы и славы, целым роем воскресали в моей душе”.

Влюбленный с детства в римскую античность, Чичерин гораздо сдержаннее оценивал Рим папско-католический с его пышными церемониалами:

“Как бы связью этих двух миров, древнего и нового, хранителем всех собранных тут сокровищ, являлось живое предание средних веков, римское папство, окруженное всем блеском и великолепием католического церемониала. Оно одно царило в Риме, еще не затронутым веянием новых идей и не опошленным натиском современности.

Здесь все носило печать этой теократической власти, к подножию которой некогда склонялись земные цари, и которая сохранилась непоколебимо среди всех превратностей истории. Я много видел этих церковных торжеств и любовался их великолепием, хотя должен сказать, что все в них казалось больше рассчитанным для глаз, нежели для души... Когда я в день Рождества Христова вошел в базилику св. Петра, меня неприятно поразили ряды солдат, устранивающих чернь и впускающих в запретное место вокруг алтаря только одетых во фрак иностранцев, собравшихся тут для зрелища. Глядя на все эти художественно организованные процессии и службы, я всякий раз с любовью вспоминал иное, гораздо более скромное религиозное торжество, которое далеко не отличается такую пышностью и блеском, но гораздо сильнее действует на душу. Я вспоминал, как на светлый праздник в тишине собирается народ на Кремлевской площади, как при первом ударе колокола Ивана Великого все молча снимают шапки и осеняют себя крестным знамением, и вслед за тем по всей Москве пойдет неумолкающий гул бесчисленных колоколов. И после торжественного благовеста, призывающего всех православных к молитве, начинается ликующий, оглушительный трезвон, возвещающий великий праздник Воскресения. В благоговейном ожидании толпится на площади народ с зажженными свечами, и вот один за другим идут вокруг соборов крестные ходы, с хоругвями, иконами, с облеченным в праздничные ризы духовенством и с радостным пением: Христос Воскресе!»



Форум и Колизей

Полтора месяца, проведенные в Риме зимой 1858–1859 гг., стали для Чичерина огромным событием в жизни:

“Я чувствовал себя как бы вырванным из земли и перенесенным в очарованный мир. Это было непрерывающееся восторженное состояние. Душа надолго насытилась возвышенными впечатлениями. Тут я впервые вполне понял высокий мир искусства и с тех пор сделался навсегда его поклонником и любителем. Мы с братом вставали рано и тотчас, напившись чаю, бежали осматривать музеи, церкви, развалины, ходили по Аппиевой дороге, а

по вечерам погружались в изучение книг по части древностей и искусства. Так незаметно летели дни, полные наслаждения”.

После Рима братья вернулись ненадолго в Ниццу к свадьбе брата Василия, который женился на баронессе Мейендорф, внучке знаменитого дипломата александровских времен графа Штакельберга. Брачная церемония проходила на русском военном корабле, стоящем в порту Генуи. В те дни Б. Н. Чичерин уговорил мать Екатерину Борисовну и сестру Александру поехать дней на десять в Рим, где уже сам стал их чичероне. Из Ниццы они проехали на дилижансе вдоль берега (по т. наз. “корниче”) до Генуи. Потом, минуя Флоренцию и Сиену, приехали в “Вечный город”.

Об этом своем втором пребывании в Риме Чичерин пишет в мемуарах очень коротко:

“Мои спутницы были в полном восторге, я рад был, что настоял на этой поездке. Показав им в Риме все наиболее замечательное, я посадил их на пароход в Чивитта-Веккиа, а сам отправился в Неаполь посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре”.

Чичерин тогда побывал в Помпеях, совершил восхождение на Везувий. Ездил в Сорренто, на остров Капри и побережье Амальфи, доехал до Пестума. Из Неаполя он уехал во Флоренцию, а оттуда снова к брату в Турин.

Подводя итоги своего первого длительного пребывания за границей, Б. Н. Чичерин потом писал:

“Я собственными глазами видел высшее, что произвело человечество, в науке, в искусстве, в государственной и общественной жизни. И я не мог не убедиться, что все это бесконечно превосходило то, что я оставил в своем отечестве. Это не был своеобразный, отмеченный особою печатью мир, противоположный России, как уверяли славянофилы. Нет, в противоположность однообразной русской жизни, вылитой в один тип, где на монотонном сером фоне незатронутой просвещением массы и повального общественного раболепства, кой-где мелькали огоньки мысли и просвещения, я находил тут изумительное богатство идей и форм; я видел разные народы, каждый со своим особенным характером и стремлениями, которые, не отрекаясь от себя, но при постоянном взаимодействии с другими, совокупными усилиями вырабатывали плоды общей цивилизации. Еще менее я мог заметить признаки мира разлагающегося. Напротив, рядом с отживающими формами и видел зарождение новых, свежих сил, исполненных веры в будущее. Эти силы были еще неустроены; впереди предстояло им еще много борьбы, усилий, может быть временно попятных шагов и разочарований. Но цель была намечена, и веющее повсюду могучее дыхание мысли и свободы обеспечивало успех. Глядя на Европу, невозможно было сомневаться в прогрессивном движении человечества”.

Следующий раз Б. Н. Чичерин был в Риме в начале 1865 г. в результате драматических обстоятельств. Осенью 1864 г. он путешествовал по Италии вместе с На-

следником русского престола, великим князем Николаем Александровичем. Во Флоренции они оба серьезно заболели. Болезнь Чичерина казалась более тяжелой: его оставили для лечения во флорентийском отеле “Италия”, в то время как остальная часть русской делегации уехала в Ниццу. Там у Цесаревича поздно определили опухоль спинного мозга: 12 апреля 1865 г. он скончался.

Чичерин же, после нескольких недель борьбы с тяжелой лихорадкой, выздоровел и решил съездить из Флоренции в Рим. Там он встретился со своим бывшим учеником, выпускником юридического факультета Петром Капнистом, прикомандированном к русской миссии в Риме и Ватикане и его двадцатилетней сестрой Сашей. На Александре Алексеевне Капнист, дочери полтавского профессора, бывшего декабриста и приятеля Пушкина, Борис Николаевич Чичерин вскоре женился. Об этом “счастливым повороте” в судьбе Чичерина написал потом в своих записках Ф. Оом, секретарь великого князя Николая Александровича, бывший с цесаревичем и во Флоренции, и при его кончине в Ницце. Вспоминая о тяжелой болезни Чичерина во Флоренции, Оом писал:

“Болезнь эта служила Провиденю путем к счастью Чичерина. После нашего отъезда в Ниццу, он некоторое время пробыл еще во Флоренции, а потом поехал в Рим и там познакомился с сестрою состоявшего при нашей миссии молодого, талантливого Капниста, которой суждено было сделаться женою Бориса Николаевича. Не будь этой болезни, Чичерин и не подумал бы разлу-

чатся с нами и ехать в Рим. Неисповедимы пути Твои, Господи!”

Четвертое посещение Б. Н. Чичериным Рима было еще более драматичным. В начале 1875 г. в их тамбовском имении Караул скончалась полуторагодовалая дочь Чичериных Екатерина, и Борис Николаевич повез неутешную жену на юг, во Францию и Италию:

“Оставаться в Карауле не было возможности. Сначала мы поселились в прелестном Ментоне, на берегу Средиземного моря, а в конце марта мы двинулись на юг, посетили Рим с его великолепными развалинами, очаровательное Альбано и голубое озеро Неми, которое мы видели в первый раз; две недели мы пробыли в Сорренто и сделали экскурсию в Амальфи. Но что значат все дивные красоты природы, когда в сердце точится неисцелимая рана, которая не оставляет ни минуты покоя? Я уподоблял себя человеку, который мирно сидел у своего камина, в уютной домашней обстановке, среди семейных радостей, и вдруг все около него рушится, его самого выбрасывают в окно, и он, не помня себя, бежит без оглядки, подальше от этих развалин, и как вечный жид, мыкается по белому свету, не зная, куда преклонить голову”.

В Россию Чичерины вернулись в августе 1875 г.

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

238

ПЕТР Ильич Чайковский (7.05.1840, Воткинск — 25.10.1893, Петербург) — композитор, музыкант, дирижер. Тема Вечного города интересовала еще молодого Чайковского: известно, что еще в 1863–1864 гг. он писал пьесу для симфонического оркестра “Римляне в Колизее”, которая не сохранилась.

Чайковский первый раз оказался в Риме весной 1874 г., проехав из Петербурга поездом, почти не останавливаясь, через Варшаву и Вену и задержавшись на несколько дней в Венеции. 1 мая 1874 г. он уже из Рима писал брату Анатолию Ильичу:

“Вот уже завтра неделя, что я выехал из России, и хоть бы с кем словечком перемолвился; кроме служителей в отелях и кондукторов на дороге, никто от меня не слы-

239

шал ни единого звука. Утро все бродил по городу и видел действительно капитальные вещи, т. е. Колизей, термы Каракаллы, Капитолий, Ватикан, Пантеон и, наконец, верх торжества человеческого гения — собор Петра и Павла... За исключением достопримечательностей Рима исторических и художественных, самый город с его узкими и грязными улицами не представляет особого интереса, и я не понимаю, как можно (после нашего русского простора) проводить здесь целую жизнь, как это делают некоторые русские”.

В тот раз Чайковский без всякого сожаления уехал из Рима — он еще долго не будет любить этот город. Куда больше понравилась ему в 1874 г. наскоро увиденная им Флоренция:

“Флоренция мне очень нравится, — писал он брату Модесту Ильичу. — Рим мне ненавистен, да и Неаполь, — чтоб черт его взял! Один и есть только город в мире, это Москва, да еще Париж...”

Следующий, еще более краткий, приезд Чайковского в Рим состоялся во время большой заграничной поездки в 1877 г., предпринятой Чайковским после неудачной женитьбы и ухода из Московской консерватории. Чайковский приехал в Рим из Флоренции утром 19 ноября 1877 г. вместе с братом Анатолием.

“Приехали в Рим в шесть часов утра, — писал он Модесту. — Злые и не в духе. Как он мне показался грязен, шумен, темен, мрачен... Мое путешествие в Италию была величайшая глупость. Это совершенно напрасно брошен-

ные деньги. Завтра мы уезжаем с Толей в Венецию, где я с неделю хочу отдохнуть от сумасшедшей суеты жизни туриста. Какое безумие в моем положении бегать с Бедкером в руках по музеям!!!”

Все опять раздражало Чайковского в Риме: отсутствие писем и очередного денежного перевода от его друга и покровительницы — Надежды Филаретовны фон Мекк и, главное, затерявшаяся на почте бандероль с эскизами Четвертой симфонии. 22 ноября Чайковский уехал из Рима в Венецию, еще более укрепившись в убеждении, что “в Риме и Неаполе заниматься нельзя”.

В 1879–1880 гг. состоялся еще один, на этот раз гораздо более длительный приезд Чайковского в Рим. Причина была несколько парадоксальна: он так полюбил богемную жизнь Парижа, что не смог там плодотворно работать:

“Смертельно не хочется уезжать из Парижа, который я люблю до страсти, в Рим, который мне антипатичен, — писал он Анатолию. — Но, с другой стороны, здесь страшно много издерживается денег и много соблазну...”

20 декабря 1879 г. Чайковский приезжает из Парижа в Рим вместе с двадцатилетним слугой Алексеем, братом Модестом и юным воспитанником брата — Николаем Конради. Сначала Чайковские поселяются в одной из самых шикарных в те годы гостиниц — “Hôtel de Russie” на Via del Babuino — с большим внутренним парком и зимним садом. Однако этот отель (он существует и сегодня), по мнению Петра Ильича, оказался “очень не-

удобен и дорог”, и братья переезжают в “Hôtel Constanzi” на Via San Niccolo di Tolentino напротив одноименной церкви недалеко от площади Барберини. (Этот огромный по тем временам отель для путешественников со средним достатком, знаменитый тем, что в 1875 г. здесь останавливался с триумфом вернувшийся в Рим Гарибальди, сегодня не существует.)

П. И. Чайковский, как всегда, активно работает: в этот раз он занят переложением Второго фортепьянного концерта для двух роялей. Тогда же он переделывает и Вторую симфонию, о которой сообщает из Рима П. И. Юргенсону:

“Теперь могу, положила руку на сердце, сказать, что симфония — хорошая работа”.

Во время пребывания в Риме Чайковский начинает “Итальянское каприччио”. Импульсом к созданию этой концертной фантазии стали народные песни, которые Чайковский слышал на улицах Рима. Началом “Каприччио”, по его собственному признанию, стал “Итальянский военно-кавалерийский сигнал, раздававшийся ежедневно в отеле “Констанци”, выходявшем одной стороной окнами во двор казарм королевских кирасиров”.

Однако и в “Constanzi” многое раздражает Чайковского, в первую очередь иностранные туристы, приехавшие увидеть рождественские торжества и знаменитый римский карнавал:

“...Приходится вести банальнейшие, невыносимые обеденные болтовни, причем на каждом шагу натыка-

ешься на возмутительные понятия иностранцев о России и русских...”

В начале февраля 1880 г. братья Чайковские нанимают отдельный балкон на центральной римской улице Corso и имеют возможность в течение нескольких дней наблюдать все детали римского карнавала.

“Мне совсем не нравится это бешенство, — пишет Петр Ильич Анатолию, — но я все-таки рад, что видел его”.

П. И. Чайковский не считал себя знатоком истории, ни тонким ценителем искусства (в некоторых римских письмах он, например, ошибочно называет собор Св. Петра собором Петра и Павла). В письмах к Анатолию он несколько отстраненно перечисляет увиденное в Риме: барочные церкви, Колизей, музеи Ватикана. Непривычно сильное впечатление на него произвели росписи Микеланджело в Сикстинской капелле, куда его тянет приходить вновь и вновь:

“Фрески Микель-Анджело в Сикстинской капелле... перестали быть для меня тарбарской грамотой, и я начинаю проникаться удивлением к оригинальной и мощной красоте его”.

9 марта 1880 г., в день отъезда из Рима, он напоследок снова идет в Сикстинскую капеллу. В этот же день он пишет Анатолию и даже проставляет время “12 часов дня”:

“Пошел пешком в Ватикан. Просидел очень долго в Сикстинской капелле, — и совершилось чудо. Я испытал едва ли не в первый раз в жизни настоящий художественный восторг от живописи. Что значит понемножку приви-



Римский карнавал. Маски на улицах (рисунок XIX в.).

вать к живописи! Я помню, когда-то мне все это казалось смешным безобразием... В конце осмотра был очень утомлен. Потом взял извозчика, купил на Corso папирос и перчатки, а теперь сижу в уютном уголке Falcone <трактир около Пантеона>. Сейчас буду есть макароны...”

11 марта он был уже в Париже. Похоже, что и в этот раз даже восторг перед гением Микеланджело не заставил Чайковского полюбить Рим:

“Мое отношение к Риму как к городу, однако ж, не изменяется. Неопределенную антипатию к нему все-таки не могу в себе побороть”.

Очередной приезд П. И. Чайковского в Рим состоялся весной 1881 г. Уже знаменитый композитор, бывший желанным гостем в известнейших салонах Европы, приехал в Рим поездом из Флоренции рано утром 4 марта 1881 г. Лучшие дома Рима считали за честь пригласить Чайковского. Он играет свои произведения на вечерах у графа Льва Бобринского на вилле Мальта на Монте Пинчио, в некоторых других домах — все это тяготит Чайковского, ибо отвлекает от работы.

“Рим пугает меня! Я живу здесь на этот раз светскую жизнью и боюсь, что в будущем году будет еще хуже. С другой стороны, — делает Чайковский неожиданное признание, — Рим так очарователен и так мне по душе!”

2 декабря того же, 1881 года Чайковский еще раз приезжает в Рим — на этот раз вместе с братом Модестом, их общим другом, харьковским помещиком Николаем Дмитриевичем Кондратьевым, воспитанником брата Николаем и своим новым слугой Григорием. В то время Петр Ильич работал над оперой “Мазепа” (по мотивам пушкинской “Полтавы”) — ежедневно, как привык, с девяти утра до четырех дня. Тогда же в Риме Чайковский за месяц (“вдохновение осенило меня”, — вспоминал он) написал и Трио для фортепьяно, скрипки и виолончели” которое он посвятил памяти Николая Григорьевича Рубинштейна, умершего в 1881 г. в Париже.

В те недели в Риме Чайковский, как может, отбивается от возобновления старых и появления новых зна-

комств, но по вечерам иногда бывает в опере. Об одном из представлений в последних числах декабря он пишет Анатолию:

“Был в опере, где слушал «Северную звезду» Мейербера, в коей Петр Великий очутился в Финляндии, причем декорация изображает швейцарский ландшафт, а народ одет в русские костюмы; тут же Меншиков продает пирожки. Смешно и глупо ужасно...”

21 февраля 1882 г. Чайковский уезжает из Рима в Неаполь, чтобы вскоре через Флоренцию, Вену и Варшаву вернуться в Россию.

Последний приезд в Рим состоялся в 1890 г. После нескольких месяцев во Флоренции, где он сочинял “Пиковую даму”, пятидесятилетний Чайковский в начале марта решает для окончательного завершения оперы ехать в Рим. Для этого он рассылает сразу в несколько римских гостиниц письма с просьбой принять его на определенных условиях: тихие комнаты, хороший инструмент и т.д. Однако дней через десять выясняется, что в римских отелях “все полно”, и Чайковский решает остаться во Флоренции.

Лишь 8 апреля 1890 г. Чайковский приехал из Флоренции в Рим со слугой Назаром и поселился в маленьком “Hôtel Molaro” на Via Gregoriana. В тот же день в письме Модесту он сообщает, что “сначала их поселили в огромный, с претензиями на роскошь, но очень неудобный номер”, но потом они перешли в освободившуюся “преlestную квартиру на верхнем этаже”:

“Я очень доволен помещением. По радостному чувству, которое охватило меня сегодня, когда я вышел на улицу и понюхал знакомый римский воздух, увидел столь когда-то знакомые места, я понял, что сделал величайшую глупость, поселившись не сразу в Риме. Впрочем, не буду бранить бедную, ни в чем не повинную Флоренцию, которую, сам не знаю почему, возненавидел и которой между тем я должен быть так благодарен за то, что без помехи написал «Пиковую даму»”.

В Риме Чайковский продолжает работу над оркестровой партитурой “Пиковой дамы”. На этот раз его письма буквально пестрят восклицаниями: “От Рима в восторге!”, “Милый, милый Рим!” и т. п. и сетованиями на то, что ранее для творчества он избрал “скучнейшую до гомерических размеров Флоренцию”. Он с радостью посещает собор Св. Петра, Сикстинскую капеллу, Пантеон, но все больше скучает по России и в одном из последних писем Модесту из Рима пишет:

“Расположение духа моего здесь гораздо лучше; но скажу тебе откровенно, что я только и живу предвкушением совершенно невероятного счастья и блаженства вернуться домой!!!”

Чайковский выехал из Рима 29 апреля 1890 г. и уже через пять дней был в Петербурге. Это было шестое по счету и, как оказалось, последнее посещение великим композитором Вечного города.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МИЛЮКОВ

247

ПАВЕЛ Николаевич Милюков (15. 01. 1859, Москва — 31. 03. 1943, Экс-ле-Бен, Франция) — историк, политический деятель, лидер Конституционно-демократической партии, депутат III–IV Государственных дум, министр иностранных дел первого Временного правительства (1917).

После окончания с серебряной медалью Первой московской гимназии поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1880 г. за активное участие в студенческих кружках был исключен из университета (с правом восстановления через год). Потерянные для учебы месяцы решил занять давно планируемым большим путешествием по Италии (оно состоялось в мае-августе 1881 г.).

Готовясь к путешествию по Италии, Милюков с благодарностью вспоминал своего университетского профессора, знатока Италии Ф. И. Булаева:

“Профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие



Вилла Адриана рядом с Тиволи

проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес. Я как раз и поставил своей исключительной задачей знакомство с греко-римской скульптурой и с живописью раннего Возрождения. Я не обещал себе наслаждения природой или наблюдений над обществом недавно объединенной Италии; не обещал даже непосредственного наслаждения искусством. Я почему-то считал себя на это решительно неспособным. Суровой и единственной целью должно было быть изучение”.

Милюков выработал маршрут, которого потом строго держался: остановка в Венеции; потом Падуя (“для фресок Джотто в Агена”); потом Болонья (“для Святой Цецилии Рафаэля”); потом Пиза (“не столько для падающей башни, сколько для Санро Санта со знаменитой фреской Орканья”); потом во Флоренцию (“на которую — по ее значению для раннего Возрождения и для его расцвета — я полагал от одной до двух недель); потом Сиена (“где меня интересовал собор и особая школа живописи”); потом Рим (“На Рим — на Палатин и Ватикан — я назначил себе целый месяц”). “Оттуда остаток времени предназначался для Неаполя и Помпеи, а в качестве баловства — для поездки в Неаполитанский залив и на Капри”.

Что касается итальянского языка, то Милюков считал, что справится с ним “довольно свободно”;

“Я учился по-итальянски у нашего милого университетского лектора Мальма, шведа, гримировавшегося не то под итальянца, не то под испанца, — с длинными

белыми волосами и эспаньолкой. Проведя слушателей через «*Promessi Sposi*» Манцони, он довел нас до Данте и прочел с нами несколько песен «*Divina Commedia*».

Милюков выехал в Италию поездом через Варшаву и Вену:

250

“Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом — первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! Я потом много раз бывал в этой красивой столице. Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле «Метрополь». Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с не тонущим куском сахара на сливочной пенке и с неизменным стаканом ледяной воды!»

Венеция поразила Милюкова, но он поставил себе задачу “не поддаваться внешним впечатлениям”:

“Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться”. Следующим городов была Падуа, где его ждали ранние фрески Джотто в Арена: “Это было для меня настоящее пиршество. От квадрата к квадрату я переходил, сличая описание с фреской и выслеживая штрихи новизны в рамках строгой традиции. Джотто — но это уже ранняя Флоренция! Джотто — современник Данте! Но подождем. Надо не умиляться, а учиться!”

“Система”, избранная Милюковым, “дала окончательную трещину” в Болонье:

“Перед святой Цецилией Рафаэля я долго стоял, забыв о всех своих планах. По своей неподготовленности я не видел раньше репродукций этой картины в красках — и очутился сразу перед оригиналом. Своего впечатления я не могу передать. От картины веяло поистине неземной гармонией (и музыкой, моей милой музыкой). Гармония в диспозиции рисунка, в повышающейся градации настроений окружающих персонажей, и, после Венеции, — в такой бережливой сдержанности красок! Но — дальше, дальше...”

251

Дальше была Пиза, где на местном Campo Santo Милюкова ждала фреска Андреа Орканьи “Торжество смерти”, о которой ему еще в университете рассказывал профессор Буслаев:

“Но фреска плохо сохранилась, и я уже знал ее по снимкам; может быть, поэтому она не произвела на меня ожидаемого впечатления... Падающая башня Пизы произвела впечатление больше тем, что с ее верхней площадки я наблюдал сменяющиеся краски солнечного заката в море”.

Милюков посетил потом Флоренцию, которая в тот раз “не далась ему”: “В ней надо жить, чтобы полюбить ее и ее скрытые сокровища”. Милюков стремился в Рим, куда он приехал, коротко посетив Сьену.

В Риме Милюков за 40 лир в месяц снял комнату на via Sistina рядом с Trinita dei Monti:

“Дешево тогда жилось бедному студенту. Надо мной был Monte Pincio со своими виллами и пиниями, подо

мной — знаменитая лестница, спускавшаяся к *Piazza di Spagna*”.

Однако, несмотря на эти “прелести”, Милюков посчитал выбор жилища в северной части Рима неудачным:

“Развалины языческого мира, начиная с Форума, были расположены в южной половине города. Они оставались в том же заброшенном, нетронутым виде, как были в папское время... Тогда это были пустыри с жалкими хибарками беднейшего населения, засыпанные песком. Ходить в июльскую жару в эту часть Рима было настоящим подвигом. Местные жители говорили, что в такое время года, когда асфальт мнется под ногами, как глина, по улицам ходят только *inglesi e cani* — англичане и собаки. Это была действительно собачья работа — добираться до базилики Сан Паоло, *fuori le mura*, в южные христианские катакомбы, или выходить на Аппиеву дорогу. Один раз, зайдя довольно далеко по аллее гробниц, я чуть не схватил солнечный удар. Помню, как в каком-то полусознательном состоянии я опустился у дерева при дороге и так, в полусне, пролежал без движения, очнувшись только, когда солнце стояло низко над горизонтом и веял с Кампаньи прохладный ветерок. Кое-как, пешком же, я добрался к ночи до своей квартиры”.

Почти ежедневно Милюков ходил в галереи Ватикана:

“Я точно распределил работу между часами дня. Вставал рано и один из первых приходил к открытию намеченного музея. В час завтрака шел в ближайшую трапезную народного типа и там завтракал за бо чен-

тезими, избегая по возможности специфических итальянских блюд, к которым трудно приучиться. После завтрака шел опять в музей с книжками под мышкой. Меня всегда сопровождал мой любимый «Чичероне» Буркхардта <книга об итальянском Возрождении>, устранявший всех других гидов. Я смотрел свысока на толпы «Куков», спешно пробежавших комнаты и не успевавших заглянуть в свои Бедекеры. Я усаживался на стул или диван и медленно переходил от одного предмета к другому. Уходил я после звонка к закрытию, и один раз случилась даже со мной по этому поводу забавная история в Капитолийском музее. Я углубился, в амбразуре окна, в рассмотрение *tabula ilica* <каменная доска с барельефом Троянской войны>, звонка не заметил, сторожа прошли мимо меня и заперли музей на ключ. Я продолжал свою работу, пока не заметил, что все стихло и никого нет в музее. Я толкнулся во двор; ворота заперты. Я обошел музей с другого конца, открыл окно на спуске тротуара от *Araceli* и стал ждать прохожих. Остановил одного, рассказал ему свою историю; тот побежал звать другого, более посвященного. Но другой сказал, что сторожа ушли, и что на вызов их потребуется время. Комната была интересная, и я вернулся к созерцанию Амазонки и Амура. Прибежали, наконец, испуганные сторожа, но, прежде чем выпустить, попросили разрешения меня обыскать, на что я охотно согласился. Извинились и ушли, а я пропустил свой завтрак, который большей частью был и обедом...”

После послеобеденного закрытия музеев Милюков возвращался домой и принимался готовиться к следующему дню:

“Тут прочитывалась соответственная глава Гастона Буассье; для Рима я приобрел еще шесть томов Ампера, построенных на изучении топографии Рима в связи с его историей. Ампер необыкновенно оживлял мои прогулки по Риму. На одном перекрестке я видел Горация, на другом встречался с Цицероном, а вот та низина, в которой римляне похитили сабинянок. Так проштудировал я, следуя Гастону Буассье, Форум, ходил по Аппиевой дороге, съездил с ним в виллу Адриана, суммировавшего там память о своих путешествиях, ходил и в Латеран, где подробно знакомился с символикой первых веков христианства при помощи еще одной прекрасной книги, словаря христианских древностей Мартиньи”.

Особенно запомнилось Милюкову одно дальнейшее путешествие по окрестностям Рима:

“От виллы Адриана я пробрался пешком к котловине озера Неми... Потом решил подняться на гору *Monte Savo* по дороге, которая вилась кругом и служила в древности для триумфального восхождения римских генералов, которым сенат не присуждал настоящего, нормального триумфа. На вершине горы стоял небольшой монастырь, куда меня, измученного восхождением, пустили переночевать. После скромной трапезы, состоявшей из неперевариваемых незрелых фиг собственного произрастания, монах повел меня посидеть на лавочке и

первым делом спросил, по Гомеру, из каких я стран. Я ответил: un russo. Монах отпрянул: nihilista? Я его успокоил, и мы начали мирную беседу о том, как испортилось время, как девицы забросили домодельные костюмы и стали одеваться в ситцы и т. д. Пока мы беседовали, солнце склонилось к закату, и мой монах оказался поэтом. Действительно, картина была очаровательная. Перед нами открывался весь Лациум, видно было всё течение Тибра, вплоть до моря, которое сияло последними солнечными лучами. А что делалось на небе! Закатываясь в облаках, солнце постоянно меняло форму; краски, от красной до фиолетовой, оживали по очереди вслед солнцу — и вслед за ним умирали. Но надо было слышать при этом воодушевленный комментарий монаха... Когда стемнело он повел меня в предназначенную для меня келью. Я мирно заснул и снов не видал. Рано утром монах проводил меня по кратчайшей дороге. Это была одна из самых приятных прогулок — и так она хорошо запомнилась”.

Далее Милюков отправился на берега Неаполитанского залива. Коротко посетил Неаполь, Помпеи, Сорренто и Капри, вернулся на пароходе в Неаполь, а потом проделал обратный путь, нигде не задерживаясь: средств едва хватило на этот кратчайший способ возвращения.

Лекции в университете уже начались, когда Павел Милюков вернулся из Италии.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЛЕРОВ

256

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЛЕРОВ (литературный псевдоним — Сергей Васильев; 3. 04. 1841 — 5. 04. 1901) — педагог, журналист, театральный и художественный критик. После окончания историко-филологического факультета Московского университета занимался педагогической деятельностью. Был инспектором IV мужской гимназии, позже — гласным Московской городской думы и членом Московской городской управы. С 1875 г. — постоянный сотрудник “Русского вестника” и “Московских ведомостей”. Писал театральные фельетоны, отчеты о художественных выставках, музыкальные рецензии (в которых едва ли не первым угадал композиторский гений П. И. Чайковского).

257

В феврале — мае 1892 г. совершил путешествие по Италии. Мемуарные очерки о Риме, где С. Флеров прожил три недели, печатались частями в “Московских ведомостях”, а затем вошли в книгу “Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции” (М., 1894). С. Флерову, в частности, принадлежит самое подробное и, по-видимому, лучшее в русской литературе описание римского карнавала.

Книга Флерова-Васильева изобилует также “советами для русских путешественников в Риме”:

“По моему мнению, все путеводители по Риму не достигают своей цели. Путеводитель Бедекера — прекрасная книга; путеводитель Гзель-Фельса еще лучше, и я советую вам непременно застись ими, когда вы поедете в Рим. Но все эти путеводители не то, что вам нужно. Читая путеводитель с начала до конца — это приблизительно такое же удовольствие, как взять словарь и приняться за его чтение; путеводитель, подобно словарю, нужен лишь для справок, и нет ничего приятнее и удобнее, как пуститься ходить по Риму наудачу, забрести куда-нибудь в лабиринт маленьких, узких переулков, прочитав на первом попавшемся углу название места, достать из кармана путеводитель и в одно мгновение сориентироваться... Но вы совершенно погибнете, если в короткое время захотите осмотреть Рим по путеводителю. Вы превратитесь в самое несчастное существо, какое только можно себе представить, в существо, которое Бедекер гонит перед собою по “вечному городу”, не давая ему “ни отдыха, ни срока”, в существо, которое через час



уже чувствует себя обкармливаемым и все продолжает быть обкармливаемым... Вместо того чтобы узнать Рим, вы только заварите у себя в голове кашу и все-таки не увидите половины того, что бы следовало увидеть... Я сделал свое дело, я предупредил вас; теперь вы можете поступать, как знаете”.

МАКСИМИЛИАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВОЛОШИН

261

МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН (настоящая фамилия — Кириенко-Волошин; 28.05.1877, Киев — 11.08.1932, Коктебель) — поэт, критик, переводчик, эссеист, художник. Впервые М. Волошин посетил Италию (Венецию, Верону и Милан) вместе с матерью Е. О. Кириенко-Волошиной осенью 1899 г. Зимой 1899–1900 гг. он задумал новое путешествие по Италии — на этот раз с обязательным посещением Рима. В одном из дневниковых набросков Волошин писал о своем тогдашнем настроении:

*В Италию — громко звенело ушах,
В Италию! — птицы мне пели,
В Италию — тихо шуршали кругом
Мохнатые старые ели...*

На предыдущем развороте: Пирамида Кая Цестия у Porta San Paolo. Позади стены — кладбище Тестаччо, где похоронены К. Брюллов и Вяч. Иванов.

Волошин начал учить итальянский язык, занялся историей искусств, проштудировал “Путешествие по Италии” Гете. В письме А. М. Петровой от 9 января 1900 г. из Берлина Волошин писал:

262

“Я мечтал, что с первыми лучами весеннего солнца я... пойду странствовать по Германии и проберусь на юг Италии в Рим, который меня теперь манит неотразимо... А пока я накопил себе путеводителей по Италии и усердно изучаю их. Теоретически я уж исходил всю Италию вдоль и поперек, с Сицилией включительно, а в Риме даже с закрытыми глазами могу разобратся”.

В начале июня 1900 г. М. Волошин с друзьями-студентами — князем В. П. Ишеевым и Л. В. Кандауровым — выехал за границу. Сначала собирались пройти Италию пешком, но, поняв неосуществимость этого плана, решили часть пути путешествовать поездом. Маршрут был расширен: “Задача нелегкая: пройти через Тироль, озера, всю Италию, прожить в Риме, в Неаполе и вернуться через Афины и Константинополь, и в три месяца!” Выделенные на путешествие деньги были скромны — каждый вносил по 150 рублей. Волошин писал матери:

“Все это можно сделать на 150 р., считая на переезды 80 р. (я высчитал по путеводителям), а остальные деньги распределив на 3 месяца, остается по 2 франка в день на остановки и питание; останавливаясь на постоянных дворах и в ночлежных домах и питаюсь преимущественно хлебом, молоком и другой примитивной пищей, — этого хватить может свободно”.

Через Тиролевские Альпы путешественники спустились в Италию и пересекли ее всю — от альпийского городка Бормио до южного порта Бриндизи на берегу Адриатического моря.

В Рим Волошин с друзьями прибыл 13 июля 1900 г. В тот же вечер друзья воспользовались рекомендательным письмом художника В. Д. Поленова и посетили жившую на вилле Ланте Надежду Дмитриевну Хельбиг (урожденную княжну Шаховскую) — жену профессора Вольфганга Хельбига, секретаря Прусского археологического института в Риме. (Н. Д. Хельбиг-Шаховская в свое время занималась музыкой у Ференца Листа, была близко знакома с Л. Н. Толстым и неоднократно бывала в Ясной Поляне. Она уверяла, что именно под воздействием ее игры на фортепьяно писатель создал “Крейцерову сонату” и, кроме того, изобразил ее в “Плодах просвещения” в образе “толстой дамы из-за границы”. Н. Д. Хельбиг-Шаховская скончалась в Риме в 1922 г. в возрасте 76 лет и похоронена на кладбище Тестаччо.)

263

Вилла Ланте, построенная по проекту Джулио Романо в 1523 г., находится на Яникульском холме, с которого открывается великолепный вид на Рим. Волошин описал его в “Дневнике путешествия”:

“На огромном чистом небе стояла луна. Внизу, широко раскинувшись, лежал Рим. Длинная огненная лента показывала течение Тибра. Два ярких электрических огня стояли на Квиринале. Некоторые кварталы тонули во мраке, в других кое-где сверкали огоньки. Направо тем-

нели Альбанские горы, налево на горизонте смутно рисовалась Соракта. Густая зелень виноградников и садов спускалась внизу по склонам холма. Вечный город! Я впервые ощутил его веянье только теперь в этом старинном дворце, чувствуя сонный трепет сияющего города, утопающего в сиянии неподвижно застывшей луны. Дыханье 27 веков, смешанное с легким запахом винограда и переплетенное нитями лунных лучей, поднималось снизу”.

15 июля Волошин сочинил в Риме стихотворения “На Форуме” и “Ночь в Колизее”.

НА ФОРУМЕ

Арка, разбитый карниз,
Сводь, колонны и стены...
Это обломки кулис
Сломанной сцены.
Кончена пьеса, ушли
Хор и актеры. Покрыты
Траурным слоем земли
Славные плиты.
Здесь пьедесталы колонн,
Там возвышается ростра,
Где говорил Цицерон
Плавно, красиво и остро.
Между разбитых камней
Ящериц быстрых движенье,
Зной раскаленных лучей,

Струны немолчное пенье...
Зданье на холм поднялось
Целью изогнутых линий...
В кружеве легких мимоз
Стройные очерки пиний...
Царственный холм Палатин!
Дом знаменитый Нерона!
Сколько блестящих картин,
Крови, страданий и стона!..
Смерклось ... и Форум молчит...
Тени проходят другие...
В воздухе ясном звучит
“Ave Maria”...

НОЧЬ В КОЛИЗЕЕ

(это полушуточное стихотворение помечено в записной книжке: “15 июля, 12 часов ночи; посвящается его сиятельству князю Ишееву”)

Спит великан Колизей,
Смотрится месяц в окошки.
Тихо меж черных камней
Крадутся черные кошки.
Это потомки пантер,
Скушавших столько народу
Всем христианам в пример,
Черни голодной в угоду.
Всюду меж черных камней

*Черные ходы. Бывало,
В мраке зловещих ночей
Сколько здесь львов завывало!!
Все улетело... и львы
Все передохли. В окошки
Смотрится месяц. Средь тьмы
Крадутся черные кошки.*

Об этой ночи в Колизее оставил заметки в “Журнале путешествия” и В. Ишеев:

“Мы спустились к Колизею, почти оцупью перебрались под сводом на арену и сели там в ожидании луны. Полуразрушенные стены Колизея, все изрытые сводами, окнами окружали нас темным грандиозным кольцом. Луна еще не показывалась. Было совершенно темно. Макс стал рассказывать сказку Кенет Греем “Уклончивый Дракон”. Прямо за каменным выступом, на котором мы сидели, чернелся какой-то глубокий проход вниз. Мы ожидали, что оттуда вылезет дракон. Летучие мыши шныряли мимо нас. Иногда пробегали черные кошки, которых почему-то водится громадное количество в Колизее”.

20 июля Волошин побывал с друзьями в Тиволи на знаменитой вилле кардинала д’ Эсте и оставил следующую запись:

“Ти-во-ли! Тиволи! На склоне горы великолепная заброшенная вилла... Чем-то давно знакомым повеяло от этих старых мраморных лестниц, зацветших плесенью и исчервленых временем, от этих темных аллей, дорожек

ки которых заросли мохом, фонтанов, обросших зеленью, струйки которых весело поют и переливаются на солнце, этих сырых полуобвалившихся гротов, в которых теперь сидят одни большие серые жабы. Все это было когда-то так знакомо по тем наивным прекрасным сказкам о старых замках и очаровательных принцессах, которые так легко гибнут от малейшего дуновения мысли и могут расцветать, как нежные тропические растения, только на благодатной почве детской фантазии”.

М. Волошин с друзьями покинул Рим 25 июля 1900 г. Из итальянского порта Бриндизи они переправились в Грецию, где посетили Коринф и Афины, а затем отправились в Константинополь.

В 1902 г. М. Волошин совершил свое третье итальянское путешествие, посетив вместе с драматургом А. И. Косоротовым как уже виденные им места (Милан, Венецию, Неаполь, Рим, Пизу, Геную), так и новые для себя (Корсику, Сардинию, о. Капри).

О римских впечатлениях Волошину всю жизнь напоминала старая записная книжка — “истрепанная, измятая, в черном клеенчатом переплете, покрытая какими-то желтыми пятнами и подтеками... Между ее страницами лежат... кипарисовая ветвь с виллы Адриана, лавровая веточка с могилы Шелли, сорная травка, выросшая между мраморных плит театра Диониса, веточка какого-то вьющегося растения, с очень тонкими вырезанными листочками, которым был обвит старый фонтан на вилле д’ Эсте...”



D. C. BIANCHI

SCAPPPELLERIA

NICOLA CALABRESI

N. CALABRESI FORN. 1883

SECRETARIA

Тема Вечного города навсегда осталась в душе Волошина. В январе 1918 г. в Коктебеле он написал одно из лучших своих стихотворений — “Преосуществление”, где сравнил гибель Древнего Рима и старой России. Он верил в возрождение (“преосуществление”) великой России по аналогии с тем, как на развалинах Древнего Рима сформировалась христианская цивилизация.

ПРЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

(К. Ф. Богаевскому)

*В глухую ночь шестого века,
Когда был мир и Рим простерт
Перед лицом германских орд,
И гот теснил и грабил грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт,
И лишь монах, писавший “Акты
Остготских королей”, следил
С высот оснеженной Соракты,
Как на равнине средь могил
Бродил огонь и клубы дыма,
И конницы взметали прах
На желтых тибрских берегах, —
В те дни все населенье Рима
Тотила приказал изгнать.
И сорок дней был Рим безлюден.
Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден*

*Был Вечный Град: ни огонь сглотать,
Ни варвар стены разобрать
Его чертогов не успели.
Он был велик, и пуст, и дик,
Как перевозанный материк.
В молчанье вещем цепенели,
Столпившись, как безумный бред,
Его камней нагроможденья —
Все вековые отложенья
Завоеваний и побед:
Трофеи и обломки тронов,
Священный Путь, где камень стерт
Стопами медных легионов
И торжествующих когорт,
Водопроводы и аркады,
Неимоверные громады
Дворцов и ярусы колонн,
Сжимая и тесня друг друга,
Загромождая небосклон
И горизонт земного круга.
И в этот безысходный час,
Когда последний свет погас
На дне молчанья и забвенья
И древний Рим исчез во мгле,
Свершалось преосуществленье
Всемирной власти на земле:
Орлиная разжалась лапа,
И выпал мир. И принял папа*

На предыдущем развороте: Площадь Минервы с обелиском.

На заднем плане — Пантеон (фото конца XIX в.).

*Державу и престол воздвиг.
И новый Рим процвел — велик
И необъятен, как стихия.
Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!*

В Я Ч Е С Л А В
И В А Н О В И Ч
И В А Н О В

Вячеслав Иванович Иванов (28. 02. 1866, Москва — 16. 07. 1949, Рим) — поэт, философ, переводчик. Еще во время учебы в Берлинском университете В. И. Иванов попал в близкое окружение профессора Теодора Моммзена — автора знаменитой “Истории Рима” и трудов по римскому праву. После окончания университета (1891) приступил к докторской диссертации об истории римских пошлин и откупов на латинском языке, работая главным образом в библиотеках Парижа и Лондона и долгое время не решаясь ехать в Рим. В 1891 г. в Парижской национальной библиотеке встретил молодого историка Ивана Михайловича Гревса, с которым вскоре подружился. Позднее Иванов написал в своем “Автобиографическом письме” (1917), что именно Гревс “властно указал” ему ехать в Рим, к которому сам Иванов считал себя недостаточно подготовленным:

“Я по сей день благодарен ему <Гревсу> за то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекавшее от избытка благоговейных чувств к Вечному городу со всем

тем, что должно было там открыться. Ни с чем не сравнимы были впечатления этой весенней поездки в Италию через долину разлившейся Роны, через Арль, Ним, Оранж с их древними развалинами, через Марсель, Ментону и Геную. После краткого предварительного пребывания в Риме мы пустились в путь дальше, на Неаполь, и объездили Сицилию, после чего надолго сели в Риме...

В ту первую поездку 1892 г. в Рим Иванов поселился с женой Дарьей Михайловной Дмитриевской и маленькой дочерью Сашей на Via Castelfidardo недалеко от Porta Pia. Много позже сын В. И. Иванова от третьего брака, Дмитрий Вячеславович Иванов, написал, как он по рассказам отца представлял себе Рим 1892 года (хотя сам увидел его только в 1924-м):

“По городу ездили на дилижансах... Отец жил на виа Кастельфидардо, одной из относительно новых улиц в районе вокзала Термини. Тогда вокзал выглядел не так, как сейчас. Это было еще скромное, маленькое здание. Поблизости — руины, Форум. Не только отец, но и я еще застал стада овец, которые паслись вдоль загородных акведуков и преспокойно входили в город. За стадом обычно тащилась двуколка, влекомая ленивой лошастью. Между колес бежала собачка, а на самой повозке сладко дремал пастух, покуривая время от времени «тосканскую» сигару. Я прекрасно представляю себе Рим, в котором жил отец в то время...”

Сам Вячеслав Иванов так описал свои первые римские впечатления:

“В новой оболочке, покрывшей старый Рим, многое болезненно неприятно меня поразило. Глаз открывал повсюду много прозы, много безвкусицы. Неожиданно и часто поражал, после Парижа, известный отпечаток провинциальности. И рядом с этим вокруг так много поэтически-своеобразного, неожиданно-живописного... В общем Рим произвел на меня первое впечатление, подобное впечатлению от очень хорошей и очень трудной, серьезной музыки. Еще не успел понять ее и не заметил даже большую часть ее красот, но уже успел полюбить ее, уже угадываешь ее великий смысл и почувствовал в душе еще неопределенное и темное, но уже глубокое и необыкновенное содержание”.

О своем пребывании в Риме 1892–1893 гг. В. И. Иванов писал и в более позднем “Автобиографическом письме”:

“Я посещал германский Археологический институт, участвовал вместе с его питомцами (“ragazzi Capitoli”) в обходах древностей, думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессилевал вследствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашенинникова, М. Н. Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбаха, славного Дж. Б. де Росси) и с художниками (братья Сведомские, Риццони, Нестеров, подвижник катакомб — Рейман)...”



Летом 1893 г. в Риме (опять-таки по инициативе Гревса) Иванов познакомился с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал (в замужестве Шварсалон). Биограф Иванова — О. А. Шор (литературный псевдоним — Ольга Дешарт) пишет:

“Первое свидание состоялось в полдень жаркого июльского дня. Они решили позавтракать вместе. Вячеслав и Лидия выбрали почему-то ресторан на другом конце города и почему-то пошли туда пешком под палящими лучами солнца по расплавленным тротуарам воспаленного Рима. Было радостно. С первых же незначительных слов — какое-то особенное проникновенное понимание, небывалое для обоих. Лишь только Вячеслав и Лидия приблизились друг к другу, между ними пробежала искра, и вспыхнул пожар...”

По-видимому, именно к этому времени относятся некоторые итальянские стихи Иванова, точная датировка которых неизвестна.

В КОЛИЗЕЕ

*Great is their love, who love
In sin and fear.*

Б У Р О Н

*Велика любовь тех, кто любит
во грехе и страхе.*

Б А Й Р О Н

*День влажнокудрый досиял,
Меж туч огонь вечерний сея.*

На предыдущем развороте: Вид на Колизей со стороны Форума.
Справа — арка Константина (фото конца XIX в.).

*Вкруг помрачался, вкруг зиял
Недвижный хаос Колизея.*

*Глядели из стихийной тьмы
Судеб безвременные очи...
День бурь истомных к праху ночи,
День алчный провожали мы —*

*Меж глыб, чья вечность роковая
В грехе святилась и крови,
Дух безнадежный предавая
Преступным терниям любви,*

*Стеснясь, как два листа, что мчит,
Безвольных, жадный плен свободы,
Доколь их слившей непогоды
Вновь легкий вздох не разлучит...*

Из-за проблем с разводом В. Иванов и Л. Зиновьева-Аннибал смогли обвенчаться лишь в 1899 г. (в греческой православной церкви в Ливорно; позже там же Иванов сочетается с Верой Шварсалон). После многолетних переездов (Англия, Палестина, Египет, Швейцария, Франция) Ивановы с маленькой дочерью Лидией, родившейся в апреле 1896 г. в Париже, вернулись в 1905 г. в Россию. Их петербургская квартира в угловом выступе-“фонаре” последнего этажа дома по Таврической, №25, сделалась местом встреч литературно-художественной богемы — знаменитых “ивановских сред на Башне”.

Осенью 1907 г. внезапно скончалась Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Но, как написал впоследствии Дмитрий Вячеславович,

“внутренняя связь Вячеслава и Лидии не прекращается. Вячеслав часто ходит на могилу и постоянно видит Лидию во сне. Его сны удивительно похожи на видения Данте, которого он переводил и очень любил... Опыт общения с усопшими сопровождал отца всю жизнь, и до, и после смерти Лидии. Он считал, что контакт не прерывается и что мертвые находятся рядом, следят за нами, дают советы, если только мы умеем слышать их голоса... И вот, по мере того как проходят годы, Вячеславу начинает казаться, — потом это перейдет в уверенность, — что Лидия ему каким-то образом вручает Веру <дочь от первого брака>, просит, чтобы он женился на ней и продолжил с ее дочерью тот любовный диалог, который начал с ней самой. Лидия, как новая Деметра, — если говорить языком, обычным для Вячеслава, — посылает на землю свою дочь Персефону. Он испуган, взволнован. Лидия, являясь ему во сне, настаивает; Вячеслав и Вера решают соединить свои жизни...”

Летом 1910 г., когда Иванов снова жил в Риме, Вера Шварсалон приехала к нему из Греции, где участвовала в археологических раскопках под руководством известного антиковеда (и многолетнего друга Иванова) профессора Ф. Ф. Зелинского.

О. Шор-Дешарт: *“Как и с ее матерью, все решилось в Риме. Вечный Город вернул В. И. его прошлому... В. И. был*



Дом на углу Piazza del Popolo и Via del Babuino, где семья Вяч. Иванова жила в 1912–1913 гг.

спокоен: он твердо знал, что его решение соединить свою судьбу с Верой есть не измена Лидии, а верность...”

В июле 1912 г. в г. Невселе (Франция) у Вячеслава и Веры родился сын Дмитрий (ныне — один из патриархов французской журналистики Жан Невсель).

Новое посещение Рима состоялось осенью 1912 г. Вячеслав, Вера, маленький Дмитрий с кормилицей-немкой и дочь Лидия поселились на Piazza del Popolo, №18, в английском пансионе на углу площади и Via del Babuino. Часть окон выходила на саму площадь Народа (возможно, именно оттуда граф Монте-Кристо наблюдал за сценой казни на площади в романе А. Дюма), другие — в парк Monte Pincio. Со слов родителей Дмитрий писал:

“От нас были видны растущие там сосны, кипарисы, каменные дубы, напоминающие отцу полотна Клода Лоррена, одного из его любимых художников”.

Именно в 1912 г. в Риме В. Иванов написал многие разделы своего фундаментального труда о культуре Диониса. В те же римские месяцы окрепла дружба Иванова с известным философом Владимиром Францевичем Эрном, продолжавшаяся до смерти Эрна в 1917 г.

Л. В. Иванова: *“В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в два являлся к нам Эрн, и начинались между ним и Вячеславом интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной темой римских разговоров была апология католичества со стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна”.*

Большим другом и частым гостем семьи Ивановых стал и писатель Павел Павлович Муратов, уже выпустивший к тому времени первое двухтомное издание своих знаменитых “Образов Италии”, многие главы которых посвящены Риму. Осенью 1913 г. семья Ивановых переехала в Москву.

В Рим Иванов вернулся уже после революции — в 1924 г. За четыре года до этого в возрасте тридцати лет умерла от туберкулеза Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Летом 1924 г. Иванову (преподававшему в начале 20-х годов в Бакинском университете) удалось получить разрешение на выезд в Италию. Формально — на международную выставку в Венеции, фактически — на бессрочную эмиграцию. Иванов не скрывал своего намерения поселиться в Италии окончательно. “Я еду умирать в Рим”, — говорил он близким друзьям.

Д. В. Иванов: *“Путешествие было не без сюрреалистических деталей. С нами в купе ехала грациозная карлица, которую мой отец на ночь аккуратно поднимал и укладывал в сетку для багажа. Жил с нами в поезде и громадный, к счастью благодушный, сенбернар. Мой отец, несмотря на принадлежность собак к миру загробному, с ним, однако, дружил. Карлица и сенбернар были членами цирковой труппы, ехавшей на гастроли”.*

После нескольких дней, проведенных в Венеции, Ивановы в сентябре 1924 г. поселились в Риме, в пансионе Рубенс на Via Belsiana, где в то время жили некоторые сотрудники советского посольства. В своих мемуарах Лидия Иванова рассказывает курьезную историю:

“Как-то к одному из них <советских служащих> приехала после короткой побытки в России жена. «Ну как там?» — «Озоном подышала, душу отвела». Вот как устроен свет! Ей там озон. А нам кажется, что озон в Риме!”

Вскоре Ивановы переселились на Via delle Quattro Fontane, №172 (в нескольких минутах ходьбы от знаменитого дома Гоголя на соседней Via Sistina). Дом с небольшими балкончиками на верхних этажах, где поселились Ивановы (он сохранился), находился совсем рядом со старым палаццо сенатора Т. Титтони — известным в Риме особняком на Via Rasella, №115 (построенным семейством Гримани в XVII в.), где в те годы дуче Бенито Муссолини снимал для себя и своей семьи квартиру.

Д. Иванов: *“У нашего дома и дома, где жил Муссолини, был общий внутренний двор. На него выходили окна наших меблированных комнат, а с противоположной стороны окна кухни Муссолини. Со двора мы могли взглянуть только на кухарку, но, выходя на улицу, случалось видеть и его самого. Машина его везла через ту же виа Систина в парк виллы Боргезе. Туда, удалив простых посетителей, привозили специального коня для дуче, и там он ранним утром занимался спортом. Потом возвращался домой и, переодевшись, ехал в Палаццо Киджи, в центре Рима, где в ту эпоху находился кабинет”.*

Квартира на улице Четырех Фонтанов станет первым знаменитым адресом Вяч. Иванова в Риме (здесь, в частности, будет написан цикл “Римские сонеты”).

Л. Иванова: *“Два шага от пьядца Барберини с ее поросшим мохом и тиною Тритоном... Дом был старый, со стенами, украшенными орнаментальными фресками, черными на белом. Внизу следила за входящими швейцариха-ябедница. (Позже она обвиняла Мейерхольда в амо-*

ральности за то, что он целовался на лестнице со своей супругой Зинаидой Райх.) Лестница была благообразная, хотя скромная. Подниматься нужно было пешком на пятый этаж и звонить в дверь с медной дощечкой, где значилось: Maria Placidi... Она впускала нас в крошечную переднюю, затем в коридорчик, заставленный по обеим сторонам сундуками, корзинами, всяким скарбом, потом в маленькую крохотную комнату, которая служила ей и ее сыну столовой и где внутри буфета, среди стаканов и графинчиков, сидел большой белый и злой кот. Наконец она доводила нас до нашего жилища. Оно состояло из трех комнат. Первая, проходная, была вся занята большим обеденным столом. Сбоку были втиснуты: с одной стороны — выцветший красный бархатный диванчик, а с другой — трюмо с большим зеркалом. Окно выходило во дворик дома шотландских семинаристов... Из этой комнаты можно было пройти налево — к Вячеславу, направо — к нам с Димой. У нас, кроме двух кроватей, помещался большой и чрезвычайно старый рояль, взятый мною напрокат... Стряпала г-жа Плачиди вкусно. Обед, по требованию Вячеслава, был всегда тот же самый: fettuccine (плоские макароны) со сливочным маслом и пармезаном, бифштекс с салатом и картошкой, кофе. Кофе у нее не был блестящий: она его оставляла в кофейнике в горячей золе и предоставляла ему тихо кипеть часами со всей гуцей. Стряпала она на деревянных углях, которые раздувала посредством веера из петушиных перьев...”

Эту маленькую комнату на Via delle Quattro Fontane описал и сам Вяч. Иванов в римском дневнике 1924 г.:

“Мне хорошо и уютно в моей комнатке, которая представляется мне порою то каютой, то отдельным купе вагона — и тогда чувство Bien-être’a <благости — фр.> еще острее. В Баку я четыре года не имел такой милой scrivania <письменный стол — итал.>, располагающей к писанию. Забываю, что окно — дверь в пространство, огражденное балконной решеткой...”

(Стоит добавить, что прямо напротив дома Ивановых на улице Четырех Фонтанов находится дом №9а, в котором в 1846 г. жил в Риме Якоб Буркхардт, автор фундаментального труда “Культура Италии в эпоху Возрождения”).

В те месяцы в Риме Иванов много занимался в Национальной библиотеке, с радостью ходил по знакомым местам. “Нагулял себе, — пишет он в «Дневнике» от 5 декабря 1924 г., — запас римского счастья”. Так осенью — зимой 1924 г. родились знаменитые “Римские сонеты” — приветствие Вечному городу от лица “нового Энея”, спасшегося из сгоревшей и разрушенной Трои-России:

I

*Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним “Ave, Roma”
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.*

*Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.*

*И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.*

*И помнит, в ласке золотого сна,
Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.*

...

IV

*Окаменев под чарами журчанья
Бежущих струй за полные края,
Лежит полузатоплена ладья;
К ней девушек с цветами шлет Кампанья.*

*И лестница, переступая зданья,
Широкий путь узорами двоя,
Несет в лазурь двух башен острия
И обелиск над площадью ди Спанья.*

*Люблю домов оранжевый загар,
И людные меж старых стен теснины,
И шорох пальм на ней в полдневный жар;*

*А ночью темной вздохи каватины
И под аккорды бархатных гитар
Бродячей стрекотанье мандолины.*

V

288

*Двустворку на хвостах клубок дельфиний
Разверстой вынес; в ней растет Тритон,
Трубит в улитку; но не зычный тон —
Струя лучом пронзает воздух синий.*

*Средь зноя плит, зовущих облак пиний,
Как зелен мха на демоне хитон!
С природой схож резца старинный сон
Стихийною причудливостью линий.*

*Бернини, — снова наш, твоей игрой
Я веселюсь, от Четырех Фонтанов
Бредя на Пинчьо памятной горой,*

*Где в келью Гоголя входил Иванов,
Где Пиранези огненной иглой
Пел Рима грусть и зодчество Титанов.*

VI

*Через плечо слагая черепах,
Горбатых пленниц, на мель плоской вазы,*

*Где брызжуются на воле водолазы,
Забыв, неповоротливые, страх, —*

*Танцуют отроки на головах
Курносых чудищ. Дивны их проказы:
Под их пятой уроды пучеглазы
Из круглой пасти прыщут водный прах.*

289

*Их четверо резвятся на дельфинах.
На бронзовых то голенях, то спинах
Лоснится дня зелено-зыбкий смех.*

*И в этой неге лени и приволий
Твоих ловлю я праздничных утех,
Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.*

...

VIII

*Весть мощных вод и в веянье прохлады
Послышится, и в их растущем реве.
Иди на гул: раздвинутся громады,
Сверкнет царица водометов, Тревви.*

*Сребром с палат посыплются каскады;
Морские корни прянут в светлом гневе;
Из скал богини выйдут, гостье рады,
И сам Нептун навстречу Влаге-Деве.*

*О, сколько раз, беглец невольный Рима,
С молитвой о возврате в час потребный
Я за плечо бросал в тебя монеты!*

*Свершались договорные обеты:
Счастливого, как днесь, фонтан волшебный,
Ты возвращал святыням пилигрима.*

290

В начале своей римской жизни Ивановы посещали православную церковь, находившуюся тогда в помещении посольства (бывшего русского, потом — советского) в палаццо Менотти на Piazza Savour. Это был в то время центр всех православных в Риме — церковь посещала, в частности, греческая королева Ольга Константиновна из дома Романовых (скончалась в Риме в 1926 г.). Русская православная колония в Риме, состоявшая тогда в основном из старых аристократов-монархистов, встретила пришельцев из Советской России, формально сохраняющих советское гражданство, неприязненно.

Л. Иванова: *“Когда мы втроем в первый раз старались пробраться через маленькую толпу прихожан, мы слышали шепот — явно достаточно громкий, однако, чтобы донестись до наших ушей: «Сколько теперь советской сволочи понабралось!»”*

Однако очень скоро у Ивановых установились самые добрые отношения с настоятелем римского прихода архимандритом Симеоном (в миру Сергеем Григорьевичем Нарбековым; умер в 1969 г. и похоронен на римском кладбище Тестаччо).

291

В Риме Лидия Иванова, уже окончившая курс Московской консерватории по фортепьяно у А. Б. Гольденвейзера, продолжила занятия музыкальной композицией в консерватории “Санта Чечилия”; в 1926 г. она получила диплом по композиции, в 1927 г. — по органу и после приобретения итальянского подданства стала преподавателем музыки и хорового пения, успешно занималась композицией. Дмитрий учился во французском “Лицее Шатобриана” у Porta Pia (куда он добирался двадцать минут пешком или на трамвае), а затем в Швейцарии и Франции.

В августе 1925 г. римскую квартиру Ивановых на Via delle Quattro Fontane посетили официально выехавшие в Европу для знакомства с зарубежными театрами Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Д. Иванов вспоминал о совместных прогулках по муссолиниевскому Риму:

“По вечерам юноши в черных фесках заседали в маленьких тратториях, закусывали пиццей и пели патристические песни. Их живописно-опереточный вид пугал навестившего нас в Риме Мейерхольда. Мы вместе с ним и Зинаидой Райх, его женой, направлялись в какой-нибудь скромный ресторанчик. Но если, приоткрывая дверь, Мейерхольд вдруг замечал черные фески и слышал горланящего тенора, он спешно уводил нас и, хватая отца за плечи, говорил драматическим шепотом, долго замирая на «и» и на «ы»: «Вячеслав, фашисты!»”

В 1926 г. Вяч. Иванов принял католичество (восточного обряда).



Дом на Via Quattro Fontane, №172,
где Вяч. Иванов жил с семьей в 1924–1926 гг.

О. Шор-Дешарт: *“В День Св. Вячеслава в России (4/17 марта) — В. И. пред алтарем Св. Вячеслава в римском соборе Св. Петра прочел формулу присоединения к католической Церкви (не обычную, а особую, составленную Владимиром Соловьевым) и затем в капелле над могилою Апостола, отстояв церковнославянскую обедню, причастился по-православному под двумя видами. На душе было спокойно и радостно: он “в первый раз почувствовал себя православным в полном смысле этого слова”, в первый раз задышал полною грудью, обоими легкими; ему уже давно, задолго до той поры казалось, что он лишен одного и задыхается. Соединяя в своем лице православие с католичеством, он не сомневался, что исполняет не только свой личный долг, но и долг своей родины, послушествуя назревшей, хотя и неосознанной тайной воле народа своего к Единению”.*

Осенью 1926 г., по приглашению Леопольда Рибольди, ректора Collegio Voghtoneo в Павии, В. И. Иванов стал профессором новых языков и литератур в местном университетском колледже. После отъезда отца в Павию Лидия и Дмитрий сняли две комнаты по новому адресу — Via Bocca di Leone, №50 (на углу Via della Croce). Здесь потом подолгу жил и Вяч. Иванов, когда на каникулярные летние месяцы приезжал в Рим.

Л. Иванова: *“Самый дорогой для памяти адрес был на Бокка ди Леоне у синьоры Сантарелли. Она была замечательно добрая женщина, сестра милосердия по профессии. И сдавала меблированные комнаты на крыше пяти-*

этажного дома. Комнаты представляли собой легкую надстройку (зимой — мороз, летом — жара) и выходили на обширнейшую террасу, господствовавшую над всем кварталом. Вокруг лес черепичных крыш. Эта квартира памятна тем, что в ней Вячеслав начал писать повесть о Светомире-царевиче...

(Дом на перекрестке виа Бокка ди Леоне и виа делла Кроче сохранился, но надстройка на крыше, где жили Ивановы, была позднее снесена.)

В 1927 г. в Рим приехала верный друг семьи Ивановых, Ольга Александровна Шор (семейное прозвище — Фламинго).

“Страстью, которая ее не покинула до конца жизни, — писала об О. Шор Лидия Иванова, — был Микель-Анджело. Интерес, любовь к нему появилась с ранних лет... Позже тема Микель-Анджело у Ольги Александровны вошла в общие философские размышления о проблемах творчества. Но, помимо чисто философского подхода к этой теме, она все время изучала и жизнь, и создания Микель-Анджело. Она, например, основательно изучила процесс построения Капитолийской площади и пришла к чрезвычайно интересным выводам... Но просто человеческая нежность к своему «Мишеньке» у Ольги Александровны никогда не прекращалась...”

В конце 20-х — начале 30-х годов Вячеславу Иванову, Лидии, Дмитрию и Фламинго пришлось переменить много адресов в Риме. Когда в 1935 г. Ивановы принимали италийское гражданство, среди прочих формально-

стей они должны были перечислить все римские адреса, где они прожили в течение десяти лет, — их оказалось более пятнадцати!

Л. Иванова: *“Сколько пансионов и меблированных комнат!.. Как-то раз приезжаю в Рим из Швейцарии. Вячеслав и Фламинго меня встречают радостно и общаются: «Мы нашли замечательный пансион на Корсо. Пятый этаж. Вид на Рим, Сан-Пьетро, атмосфера очень изысканная, щепетильная. Его клиенты почти все «подеста» (городничие) разных южных городов. Там особенно соблюдают тонкие, немного церемонные манеры, и при этом пансион стоит очень дешево». Мы там поселились. Выяснилась очень быстро вся наивность Вячеслава и Фламинги. Клиенты изысканного пансиона были действительно подеста из провинции, но они только наезжали на известный срок в Рим, а комнаты были заняты их подружками... Одно время мы поселились в пансионе на самой площади Колонна, в Палаццо Мариньоли. Нас пленил блеск этого адреса. Чтобы слышать голос или, вернее, крик собеседника, там нужно было летом наглухо закрывать окна; а в Риме летом закрытые окна — ад. Хозяева пансиона были тихие, кроткие, старенькие супруги, типа старосветских помещиков. Ранним вечером они в опрятных ночных туалетах ложились рядышком в свою постель и спали с открытой настежь дверью, освещенные мягкими лучами ночной лампочки. Их видели, но зато они были спокойны, что наблюдали за движениями клиентов в доме...”*

Среди других адресов Ивановых в Риме известны: пансион на Via Condotti (“Из окна нашей спальни не видно было ничего, кроме раскаленных ступеней бесконечной лестницы, поднимающейся от пьядца ди Спанья к Тринита деи Монти”); дешевая комната на Via Julia (“Там, поднявшись по остро вонючей лестнице, человек попадал в райскую комнату с окнами на Тибр, около Понте Систо”); меблированные комнаты на Via Авгога, № 39, и Via Gregoriana (“Это была последняя наша резиденция в меблированных комнатах”).

Наконец, в начале 1936 г. Вяч. Иванов, Лидия и О. Шор поселяются в отдельной квартире по еще одному ставшему знаменитым адресу — на Via Monte Tarpeo на Капитолийском холме рядом с Palazzo Conservatori.

О. Шор-Дешарт: *“От скитания по чужим комнатам и маленьким пансионам В. И. начал заметно уставать. Он решил снять квартиру и, наконец, начать жить семейно, своим домом. Нашлось, точно по волшебству, жилище на самом Капитолии, с видом, даже и для Рима совершенно исключительным по красоте и грандиозности...”*

Л. Иванова: *“Во время поиска квартиры, очутившись как-то на вершине Капитолийского холма, мы увидели с Фламингой на улице Монте Тарпео открытый настежь подъезд четырехэтажного старого, очень неказистого дома. За подъездом, через очень длинный и узкий проход, издали напоминающий подзорную трубу, виднелся прорыв в изумительную панораму древнего Рима... Из подъезда тесный внутренний проход провел*

нас к открытой входной двери квартиры. Мы прошли в главную комнату, мимо кухни (налево), крошечной комнаты с решетчатым окном, увитым хмелем (направо). В главной комнате направо и налево двери двух боковых комнат. А прямо перед нами распахнутая оконная дверь. Вид из нее: прямо и справа — Палатин, слева — Форум, открытый до самого Колизея. Причем, так как дом Монте Тарпео находится на возвышении Капитолийского холма, между ним и древним Римом не виднеется ни одной новой постройки. Оконная дверь выходит на длинную железную лестницу; она спускается в садик. Волшебный садик! Маленький бассейн с красными рыбками, деревья с золотыми шарами, всевозможные фрукты. Под лесенкой в стене огромный бюст Моисея, частичный гипсовый слепок со знаменитой статуи Микель-Анджело. Сбоку восьмидесятилетняя глициния, с годами превратившаяся в целое дерево; ее душистые цветущие ветви обвивают доверху всю стену четырехэтажного дома. Садик обрывается высокой городской стеной, обрамляющей Капитолий... Излишне говорить, что мы с Фламингой сразу в квартиру влюбились...”

Итак, левая боковая комната с видом на Форум была занята Вячеславом; правая (“с видом на густую глицинию”) — Лидией; Фламинго поместилась в маленькой комнате с решетчатым окном. Главная, центральная комната сделалась столовой и гостиной одновременно; в ней стоял большой диван (на котором сидели многие мировые знаменитости), в углу — чугунная печка, а

остальное пространство занимал большой обеденный стол. В хорошую погоду стеклянная дверь на балкон была открыта, и прямо перед глазами возвышался Палатин...

СТАРОСЕЛЬЕ

(24 июля 1937 г.)

*Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы,
И в гроздиях тяжелых лозы.*

*Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных, —
Двух спутников, двух неразлучных...*

*Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим!
А струйки, в зарослях играя,
Поют свой сон земного рая.*

Гостями квартиры на Тарпейской скале (в которой Иванов прожил до осени 1939 г. и которая напоминала ему его петербургскую «Башню» на Таврической) были Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Фаддей Зелинский и др. З. Гиппиус в парижском очерке «Поэт и Тарпейская скала» вспоминала о своем (вместе с Д. Мережковским) визите к Вяч. Иванову в 1937 г.:

“В Риме, по сравнению с Парижем, все «рукой подать». Далеко ли от нас, от виллы Боргезе, до Тарпейской скалы? Мы идем пешком... С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ни одной ступени. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Если, через переднюю и крошечную столовую, пройти в стеклянную дверь на балкончик, там — провал; и длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она ведет в темный густой садик... Много ль в Париже людей, хорошо помнящих знаменитую петербургскую «башню» на Таврической и ее хозяина? Теперь все изменилось. Вместо «башни» — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумной толпы новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной рясе или итальянский ученый. Иные удостаиваются «а партэ» в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина... Все изменилось вокруг — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — обстоятельный отклик на всё...”

В середине 30-х годов Вяч. Иванов начал преподавать церковнославянский язык и русскую литературу в Папском восточном институте, профессором которого он оставался до конца жизни, и в русской семинарии

восточного обряда — Руссикуме. Ему, в частности, было поручен перевод на русский язык и составление комментариев к ряду канонических церковных текстов для католиков восточного обряда. Большим событием в жизни Иванова в Риме была аудиенция у Папы Римского Пия XI, которую он получил в мае 1938 г.

В конце 1939 г. Муссолини решил вернуть Капитолийскому холму его старинный вид — времен Микеланджело — и снести весь квартал вместе с домами по Via Monte Tagreo. Найти новую квартиру помогла Татьяна Львовна Толстая, дочь Льва Николаевича. В эту квартиру на Via Leon Battista Alberti, №5 (сегодня — №25) семья Ивановых переселилась в начале января 1940 г.

Л. Иванова: *“Улица наша находится в районе так называемого Малого Авентина. Его называют также районом Святого Саввы, по имени базилики Сан-Саба — его приходской церкви. Снаружи квартал огорожен высокой древнеримской, Аврелиановских времен, стеной. Окраска стены багряно-розовая. На другую сторону можно проникнуть через монументальные, а в средние века и укрепленные ворота. Эти стены были границей древнего города. Теперь за ними бесконечные новые строения. Малый Авентин, когда мы въехали в него, только начинал заселяться. Почти все новые строения выросли вокруг древней базилики. Наш дом выходил передним фасадом на улицу Альберти, а задним на пустыри. Оттуда невероятный по красоте и широте обзора вид: на первом плане виноградники, за ними кипарисы, пинии*

и древняя церковь, также по форме базилика, — Санта Бальбина, направо — грандиозные развалины Терм Каракаллы; далее через парк виллы Челимонтана, кружевной мрамор базилики Сан-Джованни с взлетающим вверх обелиском (Вячеслав его называет иглой Тутмеса). Все это кончается широкой полосой римской Кампаны, окаймленной далекими голубыми горами. Там возвышается Сан-Дженнаро, по облику которого люди стараются предугадывать перемены погоды... На пустыре перед домом растут подсолнухи и тростник, посередине — колодец... Балкончик комнаты Вячеслава был обращен на запад. Взгляд с него падал вдоль улицы Леона Баттисты Альберти на ряд новых невысоких домов, где итальянские хозяйки развешивали для сушки свое пестрое белье. Через крыши этих домов виднелся купол Святого Петра”.

Здесь, на Авентинском холме, Вяч. И. Иванов прожил последние плодотворные десять лет своей жизни.

О. Шор-Дешарт: *“Сидя за своим письменным столом, перед стеклянной дверью балкончика, В. И. видел на фоне бесконечного неба пальмы садов, окружавших небольшие виллы, террасы, увешанные вымытым бельем, милые черепичные крыши, а за ними, вдали — то серебристый, то синий купол Св. Петра, венчающий город. А из окон других комнат открывались просторы: за монументальными и живописными развалинами терм и за древнейшим египетским обелиском — в одну сторону подымалась красавица вершина Св. Дженнара, а в другую растилалась вся цепь Альбанских гор...”*

*Сквозит из роцч Челимонтана.
За Каракалловой стеной
Ковчег белеет Латерана
С иглой Тутмеса выписной...*

*Пусть на закат простор застроен, —
Все ж из-за кровель и белья
Я видеть Купол удостоен...*

(Вяч. Иванов. "Римский дневник 1944 г.")

302

В квартире на Малом Авентине Вяч. Иванов прожил и драматические годы второй мировой войны. 1944 год, особенно трагический для Италии — с немецкой оккупацией, бомбежками (бомба разрушила, например, любимую и почитаемую Ивановым базилику Сан-Лоренцо), последующим захватом Рима союзными войсками и т.д., стал, однако, для него самым плодотворным в поэтическом отношении. Сто четырнадцать (!) стихотворений, во многом носящих дневниково-биографический характер, составили знаменитый "Римский дневник 1944 года":

*Опушились мимозы,
Вспухли почки миндалей,
Провожая Водолей.
А свирепых жорл угрозы
Громогласней и наглей.*

*За грядой олив грохочет
Дальнобойная пальба.
Вся земля воскреснуть хочет;
Силе жизни гробы прочит
Мертвой силы похвальба.
(1 февраля 1944)*

*Когда б не развязались чресла,
Колено не изнемогло,
Отдохновительные кресла
Я променял бы на седло.*

*Когда бы взбалмошную старость
Хранительный не прятал кров,
Мой вольный бег делил бы ярость
Голубоглазую ветров.*

*Теперь же мне одно осталось:
Невидимым, как дух иль тать,
Скитаньем обманув усталость,
С вожатой-Музою — мечтать.*

(15 апреля 1944)

303

*Европа — утра хмурый холод,
И хмурь содвинутых бровей,
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.*

*Россия — рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.*

*Земля — седые океаны
И горных белизна костей,
И — как расползшиеся раны
По телу — города людей.*

(23 мая 1944)

*Вечный город! Снова танки,
Хоть и дружеские ныне,
У дверей твоей святыни,
И на стогнах древних янки*

*Пьянствуют, и полнит рынки
Клект гортанный мусульмана,
И шотландские вольнки
Под столпом дудят Траяна.*

*Волей неба сокровенной
Так, на клич мирской тревоги,
Все ведут в тебя дороги,
Средоточие вселенной!*

(28 июня 1944 г.)

После войны квартиру Вячеслава Иванова на Via Leon Battista Alberti посещали такие мировые знаменитости,



Мемориальная доска на доме на Via Leon Battista Alberti, где Вяч. Иванов провел последние годы жизни.

как писатель Торнтон Уайлдер, философы Жак Маритен, Габриель Марсель, Исая Берлин. За несколько недель до смерти Иванова к нему на Авентин приезжал из Франции русский писатель и большой знаток Рима Борис Константинович Зайцев (они с женой были тогда в Риме всего один день).

Зайцев: *“Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у берниниевской колоннады поехали к Вячеславу Иванову на Авентин.*

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима... Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным. Теперь известный поэт, столп русского символизма, доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова. Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне»; все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева...

Лидия Вячеславовна Иванова вспоминала о последних годах отца в Риме:

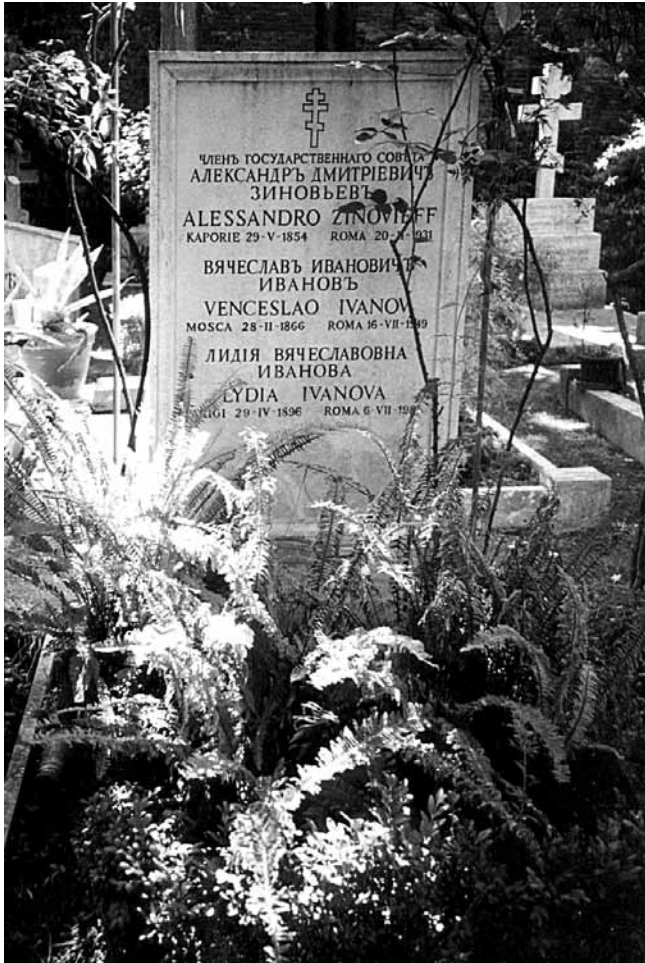
“В последние годы Вячеслав становился все светлее, гармоничнее, проще. Он радовался всякому проявлению жизни: солнцу, Риму, ласковому движению, веселью и юмору... Вячеслав неизменно любил Рим и наслаждался им. Ничто его не пугало. Летом, когда жители только и мечтают выехать из раскаленного города, он предпочитал морю крошечную терраску свою, откуда в начале нашего пребывания видел купол Святого Петра и куда можно было с трудом вдвинуть два стула...”

Начиная с 1928 г. и до последних дней Вяч. Иванов работал в Риме над объемным философским рома-

ном “Повесть о Светомире-царевиче”, в котором он в религиозно-мистической форме говорил о христианском спасении России и человечества (этот роман впоследствии — после пятнадцати лет труда — завершила О. А. Шор).

Вяч. И. Иванов скончался в Риме 16 июля 1949 г. в возрасте восьмидесяти трех лет. Отпевание состоялось в церкви Святого Антония — католической церкви восточного обряда недалеко от Восточного института и Руссикума, где Иванов преподавал. Гроб провезли на запряженном лошадей катафалке по маршруту, по которому Иванов многие годы ходил или ездил на фиакре: мимо Терм Каракаллы, Колизея, по Колле Оппио, до базилики Санта Мария Маджоре и церкви Святого Антония, приходжанином которой Иванов являлся. Похороны состоялись на римском кладбище Верано в склепе для профессоров Восточного института.

В той же квартире на Авентине жила до своей смерти в 1978 г. О. А. Шор. Лидия Вячеславовна Иванова скончалась здесь же 6 июля 1985 г. Она была похоронена в семейной могиле Зиновьевых на так называемом “акатолическом” кладбище Тестаччо. Здесь в 1931 г. был похоронен умерший в Риме брат ее матери, Лидии Зиновьевой-Аннибал, Александр Дмитриевич Зиновьев — в свое время Санкт-Петербургский губернатор и шталмейстер Императорского двора. Тогда же, в 1985 г., в усыпальницу Зиновьевых на кладбище Тестаччо был перенесен и прах Вячеслава Ивановича Иванова. (Моги-



Могила Вяч. Иванова на римском кладбище Тестаччо.

ла Зиновьевых-Ивановых находится во “втором квадрате” самой дальней от входа — “третьей зоны” кладбища.)

В конце 1985 г. дом на Via Leon Battista Alberti был перепродан и жильцы выселены (за два года до этого римский муниципалитет установил на доме мемориальную доску). Дмитрий Вячеславович Иванов нашел на соседней улице — Via Ercole Rosa, № 8 — квартиру, похожую на отцовскую, с тем же видом из окна. В этой квартире восстановлен кабинет Вяч. И. Иванова, находится его библиотека и часть архива.

309

Приложение

Ф. А. СТЕПУН

“Вячеслав Иванов и Рим”

Вячеслав Иванов не первый мыслитель и не первый поэт, для которого вечный Рим стал пристанью скитаний; их было много. Но не для многих из них духовный возврат в Рим был одновременно и восходом на вершину их творчества. Тайну нового расцвета поэтического дара Иванова под сводами “родного дома” сейчас еще не время разгадывать. Тем не менее невольно задумываешься над тем, что в “Сог ardens” поэт с благодарностью вспоминает о римском Колизее, впервые напоившем его диким хмелем свободы и благословившем этот хмель.

Дионисийская тема ранних стихов Иванова, тема предвечного хаоса в лоне природы и в глубине человеческого сердца, вакхическая тема “размыкающих душу подземных флейт”, явно связана с Римом. Быть может, в этом двойном значении Рима для поэта Иванова, в изначальной раздвоенности души поэта между Римом Колизея и Римом купола Святого Петра надо искать объяснение тому, почему “Римские сонеты”, воспевающие успокоение поэта в Риме, волнуют нас юношеской силой таланта и совершеннейшей красотой. Как знать, если бы место отрешения, в гетевском смысле этого слова, не было бы одновременно и местом поклонения прошлому, возникли бы тогда из искусства длительного ивановского молчания столь совершенные стихи, какими являются “Римские сонеты”.

Ф. А. СТЕПУН. Вячеслав Иванов //
Современные записки.
Париж, 1936, кн. LXII.

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ОСОРГИН

311

Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия — Ильин; 19.10.1878, Пермь — 27.11.1942, Шабри, Франция) — прозаик, эссеист, журналист, переводчик. После учебы на юридическом факультете Московского университета, которую совмещал с работой репортером в либеральных “Московских новостях”, занимался адвокатской практикой. Вступил в партию эсеров, примыкал к ее максималистскому крылу, был арестован. Выпущенный под залог, бежал в Италию, где в декабре 1906 г. поселился в местечке Сори, недалеко от Генуи. В 1908 г. переехал в Рим, где стал корреспондентом “Русских ведомостей”, “Вестника Европы” и других либерально-демократических русских изданий. За несколько лет приобрел большую популярность у читателя в России;

из более чем четырехсот итальянских корреспонденций наиболее значительными он считал серии статей о громких судебных процессах в Риме, об итало-турецкой войне, Балканской войне 1912 г., о современной итальянской литературе, искусстве, театре.

В 1908 г. поселился в Риме в чиновно-мещанском квартале в районе Prati di Castello, недалеко от Ватикана и замка Св. Ангела. Жил, как он сам писал, “на студенческом положении, в одной комнате, имея при себе лишь два-три десятка книг, связку рукописей и газетных вырезок, любимую старую чернильницу, пишущую машинку”. В мемуарных эссе об Италии под названием “Там, где был счастлив” (1916) подробно описал свое первое римское жилище в итальянской семье, где прожил пять лет:

“Сто двадцать пять ступеней ведут на пятый, а по нашему — шестой этаж доходного дома в новой части Рима. Когда-то эта местность представляла собою ряд огородов; я застал еще половину ее незастроенной и, можно сказать, из своего окна видел, как умирали огороды, сменяясь сначала площадками для игры в “бочче” (шары), затем (или вместе с тем) уличными брадобрейнями об одну бритву и одну гребенку и наконец уступив место огромным многоэтажным однообразным кубам, строеным наскоро, в два кирпича, без всяких архитектурных вычур, с одним расчетом — возможно сэкономить место, накроив побольше квартир и украв у будущих квартирантов побольше воздуха и солнечного

света... В то время гиганты-дома еще не закрывали от меня вида на Яникульский холм, на Ватикан и на Монте Марио с Вилла Мадама и со станцией беспроводного телеграфа. Небо отсюда казалось близким, пыль долетала в терпимой дозе, шум трамваев позволял не уноситься мыслям слишком далеко от земли. Впрочем, ночью шум смолкал, и тогда мысль вновь получала свободу полета. Но она мало пользовалась своей свободой; она добровольно замыкала себя в круг, обрисованный на столе светом керосиновой лампы; в те дни хотелось и умелось работать... Из России и из книжных магазинов плыли книги, на стенах появились большие фотографии любимейшей античной скульптуры и эскизы знакомых художников, гардероб, из уважения к столице, пришлось пополнить, старая чернильница перестала нравиться, для машинки потребовался специальный столик. Опасное обрастание инвентарем, так часто ведущее к губельной оседлости, неумолимо шло вперед и скоро сору Карло пришлось лишиться маленькой комнаты, где он после обеда читал газеты; эта комната стала моей спальней. Позже отошла ко мне еще одна комната, обычно отдававшаяся понедельно ватиканским пилигримам, — благо жили мы на расстоянии одной площади от папского государства, так что Лев XIII, а позже Пий X могли при желании видеть из окон Ватикана в простой театральный бинокль, что готовит сегодня к обеду сор Серафино. Правда, можно было и без этого заранее сказать, что готовит он пасташюту с помидорной подливкой”.



В течение многих лет Осоргин обедал в одном и том же кабачке “Piccolo Uomo” (“Маленький Человек”) у набережной Тибра, на углу Via Monte Brianzo и Vicolo del Cancellò, рядом с церковью Santa Lucia della Tinta и старинной гостиницей “Медведь” (“Osteria dell’Orso”), где останавливались Данте, Рабле и Монтень.

Осоргин: *“Весной и летом во дворике, под виноградным навесом, а зимой — от хозяйской стойки налево второй стол. Там без прочных традиций нельзя, не вкусно; фашизма еще не было. Многого тогда еще не было. Войны были маленькими, революции кончались впустую. Жизнь без особых катастроф, но все-таки любопытная. Очень старательно накапливалась духовная культура, сейчас повсюду пускаемая по ветру (как паутина в бабье лето). Крику меньше было, героем почитался тот, кто боролся за отечество, а не против своих сограждан. Еще в почете были имена Маццини и Гарибальди, а Муссолини был только социалистом и редактором плохонького “Аванти”... Жить было, в общем, покойно, и на два сольди покупался десяток папирос “пополяри”... По-русски “кабачок” звучит далеко не поэтически. Чуется в этом слове пивной, сивушный или махорочный дух, грязь лохмотьев и висящая в воздухе брань... Римский кабачок — нечто совсем особенное, нам незнакомое. Добрый хозяин любовно содержит его в чистоте, не жалея скатертей, пусть заплатанных, но все же чистых, и украшая его чем Бог послал — антиком ли, выкопанным из земли, или собственным семейным портретом, а то аквариумом, фон-*

танчиком, — благо великие воды бегут в Риме по старым акведукам с окружающих гор. В кабачке днем обедают средний чиновник, вечером он же приходит сюда с семьей или с приятелями. Обязателен столик, накрытый куском сукна, для игры в tresete, или в скоро, по одному сольдо партия. Остричь и говорить о политике полагается громко, на все помещение, но ни один добрый падроне не позволяет посетителю грубого слова или пьяных выкриков — да и посетитель сам понимает это прекрасно. Чем стариннее кабачок, тем в большем он почете; чем строже наблюдает хозяин, чтобы только избранные виноградники доставляли дары свои в подвал кабачка, — тем больше ценителей заглядывает в уют кабачка после захода солнца. Но всегда доступными остаются цены, и синеглазник-рабочий не переплачивает из-за того, что кабачок полюбился и господину в манжетах. В осенний сезон, когда Рим заполнен иностранцами, кабачки прихорашиваются и, конечно, теряют часть колорита. Настоящие habitués <завсегда таи — фр.> забиваются в угол и скучают, закрывшись листом “Messagero” или “Giornale d’Italia”. Они ждут, когда волна иностранцев сбудет и снова станут они первыми людьми земного рая. Разве немец или англичанин, забредшие сюда ради курьеза, понимают разницу между искристым Фраскати и степенным Гроттаферрата? И можно ли серьезно спрашивать в будний день Асти Спуманте, обращая волшебный кабачок в шаблонный ресторан?”

Ужинал Осоргин обычно с хозяевами квартиры — мелкими римскими чиновниками:

“Ели мы суп с тестом и фасолью, немного вареного мяса с введенной ради меня в употребление горчицей, иногда блюдо земноводных слизняков в пикантном соусе, а то сладкие почки, и в заключение острый козий сыр (дар кузины из Абруцци) и по апельсину...”

В конце 1908 г. Осоргин подружился в Риме (как оказалось — на всю жизнь) с писателем Борисом Константиновичем Зайцевым.

Осоргин: *“Мы познакомились в Риме у меня, на шестом этаже, где из окна виден был Ватикан, купол Петра и пустырь Прати-ди-Кастелло, теперь сплошь застроенный высоченными домами...”*

Годы спустя, в своей мемуарной книге “Мои современники” Борис Зайцев обрисовал свое впечатление от Осоргина в Риме 1908 г.:

“Изящный, худощавый блондин. Нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо... Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости, позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души. Нас он в Риме опекал, как ласковый старожил приезжих. Быстро устроил комнату, указал ресторанчик, где и сам столовался и который оба мы потом “воспели” (не в стихах, конечно): “Piccolo Uoto” назывался он — “Маленький Человек”. Хозяин был низенький толстячок, держал дешевый ресторанчик на Via Monte

Brianzo, около Тибра — пристанище международной литературно-художественной богемы. По ранне-осеннему времени завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки “антиков”... и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородаками, с видом карбонариев — среди них и sor Michele, тоже в артистической шляпе, с летящим галстуком, приветливым похлопыванием по плечу, дружеское рукопожатие с хозяином... Волна молодости, света и красоты несла тогда и его и нашу жизнь. Во многом sor Michele в эту волну вводил, и в самом Риме, и позже в Cavi, где устроил нас в чудесной рыбацкой деревушке на побережье генуэзском. Там тоже русские эмигранты жили — и это самое Cavi тоже мы с ним в писаниях своих не раз добром помянули”.

Осоргин вспоминал, что в Риме он любил сочинять свои статьи и корреспонденции в домике Цезаря на Форуме (“еще были целы в домике шесть дубков...”). Совершая многочисленные прогулки по Риму, став его блестящим знатоком, Осоргин много размышлял о вечности, о судьбе — эти темы позднее найдут отражение в его книгах, сделавших его одним из самых читаемых писателей во всей межвоенной Европе:

“Заглядывая иногда на кладбище у черепичной горы Тестаццо, где под сенью пирамиды Кая Цестия врастает в землю надмогильная плита Шелли, где у дверей склепа сидит мраморная девушка, изваянная Антокольским, где плакучее деревцо склонилось над именем Пашкова и где спит много, много маленьких, никому не ведомых лю-

дей, — я бродил глазами меж черных кипарисов, отыскивая незанятый клочок земли, который можно откупить заранее. Мне казалось — и посейчас кажется — покойным и гордым лежать здесь, далеко от родины кровной, в центре родины великой культуры. Здесь заезжий сородич прочтет на мраморной плите имя — прочтет вслух и, может быть, вспомнит или запомнит; после, вместе с именем кладбища, пирамиды и странной, голой горы из античных черепков, — мелькнет в его памяти и надпись на русском, навеки оставшаяся в Вечном Городе, поскольку, конечно, сама вечность — не условна. Быть связанным с Римом — хотя бы узами смерти — мне всегда казалось честью. Низко склоняю голову и прошу мою судьбу оказать мне эту честь, хотя бы за те мучительные годы, которые выпали и выпадут на долю наших поколений!”

Осоргин много путешествовал по Италии. В своем мемуарном эссе “Времена. Автобиографическое повествование”, написанном во Франции в 1942 г. незадолго до смерти, он вспоминал:

“Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак пиццу, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой... Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и

знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим *zabaione* <заварным кремом> толстый падроне сор Анджело и так свежа была вода лучшего акведука...”

С 1909 г. Осоргин работал итальянским представителем организованного в России графиней В. А. Бобринской Фонда по организации экскурсий русских земских учителей в Европу. Уже летом 1909 г. более 400 русских экскурсантов-учителей несколькими группами посетили Италию.

Зайцев: “Лучшего водителя по Риму, да и другим городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать: он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неустойчивостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали”.

Об одной из таких групп (итальянцы называли их в шутку “*caravano gusso*”) сам М. Осоргин написал в повелле, вошедшей в сборник “Там, где был счастлив”:

“В страну апельсиновую, все же чужую, страна еловая, все же нашенская, вторгалась периодически, больше — летом, когда по улицам Рима бегали, высунув язык, собаки и иностранцы... Я подсел к ним <к русским>, научил, как подвертывать макароны на вилку и отправлять куда полагается, объяснил, что любой предмет называется в Италии “*куэсто*”, если показывать на него пальцем. И что русских рубашек носить навывпуск нельзя: подумают, что рубашка выползла нечаянно. Что итальянцы на

улице щиплются — ничего не поделаешь, это они любя. Что на Форуме Траяна кошки — кому они мешают? Под купол Петра Иван Великий, действительно, умещается. Огурцы здесь большие, но невкусные. К Папе ходят в черном, а девушки могут и в белом. Каши гречневой нет; ну что же делать, потерпите. Аполлон Бельведерский здесь, а Венеры Милосской, право же, нет, она переехала давно в Париж. Пизанская башня в Пизе. Везувия отсюда не видно, он под Неаполем. Что? Ну полноте, зачем вам в Италии калоши?..”

Вечером, вспоминал Осоргин, он вместе со своими новыми русскими знакомыми долго бродил по Риму, а ночью пели в Колизее “Вниз по матушке по Волге”...

К 1914 г. общее число “экскурсантов” из России превысило 3 тысячи человек. Драматична была история возвращения в Россию последних групп, застрявших в Италии после объявления войны и лишенных возможности проехать в Россию обычным железнодорожным маршрутом через Австро-Венгрию и Германию. Только при непосредственной помощи Осоргина, проявившего, как свидетельствовали очевидцы, недюжинную волю и характер, русские экскурсанты смогли наконец попасть на пароход, отплывающий через Константинополь в Одессу.

В 1916 г. Осоргин полуполюгально, кружным путем через Скандинавию, возвратился в Петроград. Февральская революция застала его в Москве. Твердо решив не связывать себя официальной государственной или партийной

службой, он отклонил почетное предложение Временного правительства занять пост посла демократической России в Италии. После Октябрьской революции Осоргин не пошел и на активное сотрудничество с большевиками. (Известный русский писатель-эмигрант Марк Алданов сказал однажды, что “Михаил Осоргин был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог...”.)

Тем не менее после революции Осоргин продолжает активно печататься в ряде пока еще свободных периодических изданий и, имея высокий авторитет в литературной среде, избирается первым председателем Всероссийского союза журналистов и товарищем (заместителем) председателя Союза писателей. Активно участвует он и в работе “Studio Italiano” — независимого италофильского кружка (вместе с П. Муратовым, Б. Зайцевым, А. Дживелеговым, Б. Грифцовым, М. Хусидом и др.). Он был и одним из организаторов писательской кооперативной книжной лавки, чтобы, по его собственным словам, “быть около книги и, не закабалая себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода”. Осоргин вспоминал те месяцы:

“Пайковая селедка, дымящаяся печурка, валенки, очередь за прилавком, работа на нашем маленьком книжном складе — и вдруг счастливо украденное время для заседания в италофильском нашем кружке “Студио итальяно”, где холод не мешал возрождать любимые образы и делиться тем, что дала нам близость общей любви-

цы Италии. Все в сборе — Муратов, Грифцов, Дживеллегов, покойный ныне Миша Хусид, в публике — толпа итальянских воздыхателей. Дорогим визитером приехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи — лишь за несколько месяцев до смерти. Так в дни холода и голода мы грелись солнцем воспоминаний о стране солнца”.

В те же месяцы в голодной Москве М. Осоргин и Б. Зайцев дали друг другу обещание, несмотря ни на что, обязательно приехать еще раз в Рим и вместе выпить чашку кофе в любимом ими обоими римском политическом кафе “Агагно” на углу Via del Corso и Via delle Convertite... Вскоре, однако, оба они были арестованы “за антисоветскую деятельность”, а М. Осоргин, как редактор печатного органа Комитета помощи голодающим, был приговорен к расстрелу, замененному потом ссылкой в Казань. О поведении Осоргина в чекистском застенке, известном всей Москве как “Корабль смерти”, Б. Зайцев вспоминал в своих мемуарах:

“На Лубянке, в камере, где мы сидели, его избрали старостой, или старшиной, чем-то в этом роде, и он был превосходен: весел, услужлив, ерошил волосы ежеминутно на голове, представлял за нас перед властями...”

В 1922 г. постановлением коллегии ГПУ М. Осоргин (вместе с семьюдесятью другими известными писателями, философами, общественными деятелями) был выслан за границу. Однако, в отличие от большинства других эмигрантов, он, продолжая отождествлять себя только с Россией, не отказался от своего “красного па-



Улица Корсо (фото начала XX в.). На переднем плане слева — Palazzo Chigi (резиденция премьер-министра); справа — магазины Fratelli Voscopi. В первом этаже следующего дома по правой стороне — политическое кафе “Агагно”, в котором часто бывал М. Осоргин.

спорта” — пусть даже с отметкой о высылке. Со свойственной ему иронией он описал в одном из очерков “двойственность” этого документа, где, “с одной стороны, сказано, что обладатель этой книжки изгнан из пределов советской России, с другой же стороны, предлагается казенной формулировкой пролетариям всех стран соединяться”.

Осоргин: *“Было бы поистине малодушным менять такой интересный паспорт на “белый” и настаивать на своей безотечественности и своем бесподданстве! Нет, я русский, сын России и ее гражданин! Я желаю нести ответ за нее, за ее “чуждачества”, за природные качества ее народа и выходки ее правителей, которых я допустил, я терпел, я не сверг. О нет, этой ответственности я с себя слагать и права не имею, и по совести не хочу!”*

В Берлине Осоргин долго добивался визы в Италию для того, чтобы принять участие в знаменитых “русских лекциях” осенью 1923 г., организованных итальянским русистом Этторе Ло Гатто. В составе русской делегации в Риме были тогда такие корифеи русской мысли (в те годы — уже эмигранты), как Николай Бердяев, Борис Вышеславцев, Павел Муратов, Семен Франк. В числе приехавших в Рим был и старый друг Осоргина — Борис Зайцев. В очерке “Свиданье”, вошедшем в книгу “Там, где был счастлив”, Осоргин написал об их долгожданной встрече в Риме:

“Вчера с поездом приехал тот, с кем мы назначили здесь свидание. Мы назначили его еще два года назад, в Москве,

в Большом Чернышевском, в самое безнадежное время... Был холод, зима, день уходил на добывание пищи, ночь — на невеселые раздумья и тревожные ожидания стука в дверь (звонки в Москве тогда еще не действовали). И вот тогда, в минуты полной безнадежности, мы серьезно обещали друг другу встретиться в Риме и выпить кофе у Араньо. С той же вероятностью можно было назначить встречу на северном полюсе, в чистилище Данте, на скрещенье двух каналов Марса. Вскоре встретились... в тюрьме Особого отдела. Спустя месяцы я ехал в ссылку в голодную губернию. Все это мало походило на исполнение общего нашего желания! И все же оно исполнилось. Пипистрелло <летучая мышь> кружит под потолком, а мы с улыбкой помешиваем ложечкой в чашке мокко...”

В те же дни Осоргин в последний раз обошел вместе с Зайцевым свои любимые места в Риме — Форум, Палатин...

Осоргин: *“Днем бродим по Форуму. Необходимо отыскать домик Цезаря, где меж стен росло шесть дубов, а у окна лежал камень, удобный, как мягкое кресло. Раньше я находил его по кудрявым деревьям и сидел в нем часами, особенно весной, когда всюду на Форуме — глицинии и красные маки. Ищем вместе. Должно быть, эти самые стены. Где же молодые дубы? Только шесть низко спеленных пней! Сторож напоминает: «да, спилили их года четыре тому назад!» Еще — утрата! Кому помешали дубы? Кто осмелился спилить их? Погибла краса и уют дома Цезаря! И только красные розы и бассейны дома ве-*

сталок помогают утешиться в новой невознаградимой потере. Палатин стал садом, цветущим и благоуханным. Это его очень красит и совсем не лишает развалины их исторического величия. Говорить не о чем. Мы отдыхаем в тени старых деревьев на холме, где возвышался когда-то храм богине, имени которой мне не вспомнить. Мы — на Палатине. Мы — в Риме! Те самые «мы», которые мечтали об этом, как о недостижимом более счастье! На минуту я погружаюсь в мир былых ощущений. Если бы иметь силу продлить эти минуты!»

В самом конце 1923 г. М. Осоргин, резко отрицательно воспринявший приход к власти фашистов в Италии, окончательно обосновался во Франции. В 20–40-е годы он стал одним из самых значительных писателей русского зарубежья (например, его роман “Сивцев Вражек” был издан беспрецедентным для эмиграции тиражом в 40 тысяч экземпляров и переведен на все основные европейские языки). Мечта Осоргина быть похороненным в Вечном городе, среди кипарисов на римском кладбище Тестацчо не сбылась. В ноябре 1942 г. Михаил Андреевич Осоргин скончался в местечке Шабри на юге Франции и был похоронен на местном кладбище.

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

329

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ (10. 02. 1881, Орел — 21. 01. 1972, Париж) — писатель, мемуарист, переводчик, общественный деятель. Осенью 1908 г., будучи уже известным писателем, отправился в путешествие в Рим благодаря авансу, который был получен от И. Бунина за рассказы для его альманаха “Земля”. Путешествовал с женой Верой Алексеевной Смирновой (из старинного итальянского рода, среди ее предков — известный художник Ф. А. Бруни). Вспоминая об этой первой римской поездке, Зайцев писал, что они с женой сначала поселились в “тихом и чинном пансионе у Виллы Боргезе”, а затем (по рекомендации М. Осоргина) сняли большую, окнами на юг, комнату в квартире на Via Belsiana близ Испанской площади:

“Наши окна выходят на «Бани Бернини». С подоконников наружу вывешены ковры. С улицы долетает пение и болтовня прачек, и на полу лежат два прямоугольника света, медленно переползающего по креслам, гигантским кроватям на стену. Солнце растопило утренних барашков и над краснеющей террасой бань Бернини засинел угол такого неба, как в Риме полагается — в Риме осенью, солнечном и еще теплом”.

О домашнем быте на улице Бельсиана Зайцев потом вспоминал в одном из своих “римских очерков”:

“Вот какова наша обстановка: квартира огромная. Ее хозяин — итальянский врач, не то акушер, не то гинеколог, а не то просто шарлатан. Его почти и не бывает дома. Квартира малообитаема. Длиннейший коридор ее пронизывает; тут дверь и в ванную, и в хирургическую, и в приемную, и в кабинет, в гостиную — везде полутемно, спущены жалюзи, и целый день сквозняк... Может быть, это вовсе и не доктор, а торговец какими-нибудь контрабандными товарами или тайный процентщик. Все возможно в старом Риме с просырелыми домами — выдавшем виды всякие, ничему не удивляющемся... К вечеру в римской квартире, осенью, холодновато. Окна запотели. Мы закрываем ставни, разводим на спиртовке чай, пьем, читаем, а ноги мерзнут, и на плечи не грех накинуть что-нибудь... Началась ночь. И скоро мы укладываемся на гигантские латинские постели, под мягкими перинами, нагужая на себя пальто, платки, что можно, чтобы было потеплее...”



На площади Св. Петра в Риме (фото 1907 г.).

В Риме Зайцевы познакомились с русским журналистом (бывшим эсером, бежавшим из России в 1906 г.) Михаилом Андреевичем Осоргиним, который жил за Тибром недалеко от замка Св. Ангела и, по словам Зайцева, “опекал новичков, как ласковый старожил приезжих”. Сам Осоргин в своем мемуарном очерке “О Зайцеве” вспоминал:

“В 1908 г. мы познакомились в Риме у меня, на шестом этаже, где из окна виден был Ватикан, купол Петра и пустыри Прати ди Кастелло, теперь сплошь застроенные высоченными доходными домами. Борис Константинович был тогда уже видным молодым писателем. Италию он смотрел впервые и, конечно, был в нее влюблен. Любовь оказалась такой крепкой и прочной, что он, который в римской аптеке вместо «пургативо» (очистительное) просил дать ему «пургаторио» (чистилище), тремя годами позже уже переводил Дантов «Ад» прекрасными строками”.

Вместе они посещали известный среди художников и журналистов ресторанчик на углу Via Monte Brianza и Vicolo del Cancellò рядом с набережной Тибра и церковью Santa Lucia della Tinta. Этот кабачок (ни он, ни дом не сохранились) всегда и в шутку называли “Piccolo Uomo” (“Маленький Человек”) из-за солидных габаритов хозяина — Зайцев позднее описал его в своем романе “Дальний Свет”. О совместных завтраках в “Малыше” (в те годы этот кабачок стал благодаря Осоргину одним из центров “русского Рима”) Зайцев написал в своей книге “Мои современники”:

“Завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки «антиков»... и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородами, с видом карбонариев... Поэзии и простоты этой жизни нельзя забыть...”

Дружили Зайцевы в Риме и с писателем Павлом Павловичем Муратовым, чья книга “Образы Италии” зарождалась во время их совместных путешествий и, впервые изданная в 1911–1912 гг., была посвящена автором Б. Зайцеву.

По вечерам Зайцевы с друзьями любили сидеть и пить кофе либо в кафе “Fraglia” на Piazza Venezia, либо в “Aragno” (на углу Via del Corso и Via delle Convertite), либо в “Caffé Greco” на Via Condotti рядом с Испанской площадью. В своих римских очерках Б. Зайцев оставил описания этих знаменитых еще с прошлого века кафе:

“Если «Aragno» шикарно и многолюдно, если оно «современно», то кафе «Greco» скромно и просто до предела, но гордо славою своей полуторавековой. Это кафе художников, артистов и писателей. Гете пил здесь кофе, наш Гоголь философствовал с Ивановым, и бесчисленные малые художники украшали кафе картинами, бюстами, скульптурами. Здесь невзрачно; днем темновато; все обсижено, обкурено и закоптело. Нет претензий. Но нечто покойное, чинно-старинное живет, вызывая почтение. Вечером зажгутся рожки газовые, они горят зеленовато-золотисто; посетители тихо расселись по углам, читают газеты, играют в домино, в шахматы. Благородная



BARBARIA BUFFET GELATERIA
GRAND CAFE FARAGLIA

LIQORI FARAGLIA

ARMANDO TESTA & C. INGEGNERI

эта игра прочно тут процветает. В «Caffé Greco» тепло, слегка пахнет кухней; на скромном диванчике в дальнем закоулке долго можно сидеть, слушая гудение газа, у надписи под портретом: «Николай Васильевич Гоголь». Вежливый камерьере принесет чашку кофе и за скромные чентезимы нальет рюмку вермута. Можно сидеть, курить, мечтать — никто не помешает. Разве шахматисты загремят фигурками, соберут их, расставят боевой порядок и начнут плести сеть молчаливых хитросплетений. «Caffé Greco» имеет простоту и тишину, нужные Риму».

Осенью 1911 г. Зайцевы снова приехали в Италию и, после посещения Флоренции и Кави, поселились в Риме в пансионе Франчини на Via Veneto, №146 (дом сохранился). О том времени Зайцев позже писал К. Паустовскому:

“В Риме мы жили с Верой молодыми и счастливыми. Зиму 1911–1912 гг. провели в пансионе на Via Veneto, наверху, где он упирается почти в стену Аврелиана. Окна комнаты нашей выходили на эту стену, за ней — Ваша (и наша) вилла Боргезе. Все это мне очень близкое и почти родное”.

Хотя в своих работах Б. Зайцев никогда не скрывал, что он всю жизнь оставался по преимуществу поклонником Флоренции (считая именно ее своей “второй родиной”), он с “великим почтением” относился и к Риму:

“Опьянения и восторга Флоренции здесь не было. Серьезнее, строже, отчасти грустнее, всегда на пороге Вечности... Один день под темно-сияющим небом Рима, при прохладе, ясности и той великой тишине, которая была

На предыдущем развороте: Площадь Венеции (фотография 1911 г.). В нижнем этаже дворца Министерства социального страхования политическое кафе “Fagaglia”, где часто бывали Б. Зайцев и М. Осоргин.

тогда в Римской Кампанье, — такой день стоит года жизни обыденной”.

В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры — “Studio Italiano”, основателями которого были итальянец Одоардо Кампо (живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея) и Павел Муратов. Зайцев с первых же дней стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские темы.

В 1921 г. Б. Зайцев избирается председателем московского отделения Всероссийского союза писателей. Летом того же года он входит в Комиссию помощи голодающим (Помгол), через несколько недель его арестовывают по обвинению в “антисоветской деятельности”, но вскоре выпускают на свободу. В 1922 г. он с женой Верой Алексеевной и дочерью Натальей навсегда уезжает за границу. Официально — “для поправки здоровья” (Зайцев тяжело переболел сыпным тифом); в получении виз помогли Каменев и Луначарский, с которыми Зайцев еще до революции встречался в Италии.

Осенью 1923 г. Б. Зайцев по приглашению своего итальянского друга Этторе Ло Гатто, генерального секретаря Института Восточной Европы в Риме, провел три месяца в Италии для чтения лекций. Лекции в Риме начинались в ноябре, но Зайцевы приехали в Италию уже в сентябре, посетили Верону, Венецию, Флоренцию и наконец поселились на Лигурийском побережье, в известном им по прошлым путешествиям местечке Кави-ди-Лаванья.

Оттуда Зайцев и ездил в Рим — другими русскими лекторами были к тому времени также ставшие эмигрантами П. Муратов, М. Осоргин, Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, С. Франк. В очерке “Латинское небо” (конец 50-х годов) Зайцев вспоминал:

“Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка, — все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Веллизарии...”

Тогда же состоялась и знаменитая встреча со старым другом Михаилом Осоргиным в римском кафе “Араньо” на Via del Corso, №183, о которой они договорились в голодной Москве 1921-го, незадолго до ареста обоих.

30 декабря 1923 г. Зайцев покинул муссолиниевскую Италию:

“На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот”.

Первое время Зайцев считал итальянский фашизм явлением преходящим и, уезжая в Париж, очень надеялся вернуться. “Итальянская тема” и во Франции осталась для него важной: она нашла отражение в романе “Золотой узор”, над которым Зайцев работал в Париже в 1923–1926 гг.; затем в изданных в Париже беллетризованных биографиях “Жизнь Тургенева” (где, в частности,

описывается пребывание И. С. Тургенева в Риме в 1840 и 1857 гг.) и “Жуковский” (где ярко описаны встречи Жуковского с Гоголем в Риме).

Б. Зайцеву удалось снова посетить Рим лишь в шестидесятивосьмилетнем возрасте при весьма необычных обстоятельствах.

Б. Зайцев: *“В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, конквистадори по жизни своей «Казанова» — неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию: «У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку. Но вывезти не могу — проживем их вместе...» Началось наше блиц-турне. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции... Во Флоренции оказалось, что денег в обрез...”*

Тем не менее Рогнедов настаивал, что, как и обещал, довезет Зайцевых до Рима (“Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день...”). Остановившись на одну ночь в отеле “Exelsior” на Via Veneto, Зайцевы успели утром побывать в Ватикане (“была Страстная Пятница, день смерти Рафаэля”), а после завтрака в ресторанчике у колоннады Бернини поехали к Вячеславу Ивановичу Иванову, который тогда жил на Via Leon Battista Alberti на Авентинском холме. Зайцевы оказались одними из последних гостей поэта-философа и слушателями его последнего труда — религиоз-

но-мистической “Повести о Светомире-Царевиче”, над которой тот работал последние годы. (Через несколько недель, в июле 1949 г., В. И. Иванов скончался в Риме.)

В 1957 г. супругу Зайцева, Веру Алексеевну, разбил паралич — духовной опорой их в те годы во Франции были воспоминания о совместных поездках в Италию. В. А. Зайцева (Смирнова) скончалась в Париже в 1965 г. Там же, 28 января 1972 г., в возрасте 90 лет скончался Борис Константинович Зайцев, в течение последних двадцати пяти лет бывший бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом. Его отпевали в парижском соборе св. Александра Невского и похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Одним из главных творческих итогов своей жизни Б. К. Зайцев считал “раскрытие историософского смысла русского чувства Италии”.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ МУРАТОВ

341

Павел Павлович Муратов (март 1881, Бобров Воронежской губ. — 5. 02. 1950, Уотерфорд, Ирландия) — писатель, искусствовед, переводчик. Будучи по образованию военным инженером и закончив до этого кадетский корпус, П. Муратов во время русско-японской войны писал военные репортажи. Потом много путешествовал по Европе, регулярно печатался как художественный критик в “Зорях”, “Перевале”, “Утре России”, “Русских ведомостях”, “Старых годах”, “Золотом руне”, “Аполлоне”. Служил библиотекарем Московского университета, затем хранителем отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея.

Друг Муратова, писатель Борис Константинович Зайцев, с которым они были знакомы с 1903 г. (именно За-



йцеву впоследствии будут посвящены знаменитые муратовские “Образы Италии”), в своих мемуарах писал о Муратове:

“Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось)... — с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно... Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось. При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные... С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать”.

Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездки в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма.

Зайцев: *“Помню весну 1906 года, московский журналист «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же*

На предыдущем развороте: Роща пиний на вилле Боргезе
(фото конца XIX в.).

вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме”.

Муратов впервые приехал в Италию в 1908 г. вместе с первой женой Евгенией Владимировной и тогда же побывал в Риме. Много размышляя о загадке Рима, он пришел к парадоксальному выводу: неповторимый содержательный смысл понятию “Вечный город” придает не столько сам город, сколько окружающая его “вечная Римская Кампанья”:

“Вечность Рима не вымысел, — его окружает страна, над которой время остановило полет и сложило крылья... Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простирается эта легендарная страна”.

Не случайно в своих мемуарах о совместных с Муратовым римских путешествиях писатель Зайцев более всего вспоминал именно о прогулках по Римской Кампанье, и в первую очередь в любимый Муратовым городок Тиволи в окрестностях Рима. Зайцев так описал их общее с Муратовым впечатление от посещения развалин виллы императора Адриана (I в. н. э.):

“В опьянении некоем бродим среди обломков жилищ ее, по разным портикам, атриумам, заросшим плющом, видим водоемы, — все это двухтысячелетний сон, заплетенный зеленью, полный очарования неизъяснимого”.

Впечатлениям от виллы Адриана в окрестностях Тиволи посвящены и строки самого П. Муратова:

“С этих террас <Тиволи> путешественник видит не-далеке... укрытые в группах зелени развалины виллы Адриана. Он может быть хорошо подготовленным к посещению этих развалин «Археологическими прогулками» Буассье, но описания не могут дать понятия о выросшей среди руин удивительной растительности. Все приняло там поистине колоссальные размеры. Редко где можно увидеть такие мощные оливковые деревья с причудливейшими кривыми стволами. Их узловатые корни далеко тянутся вокруг, переплетаясь и взрывая землю. Нигде нет таких развесистых и густолиственных вечнозеленых дубов, как на склонах «Темпейской» долины. Здесь даже в полдень сумеречно, даже в летний жар прохладно; зимой вода выступает при каждом шаге из-под сухих листьев, и повсюду ярко зеленеет влажный мох. Леса лавров выросли среди каменных россытей. Плющ завешивает целые стены и взбирается высоко, до зияющих провалами сводов. Даже недавние насаждения принимаются с необычайной быстротой. Аллея кипарисов, ведущая к выходу, уже стала самой высокой кипарисовой аллеей в окрестностях Рима. И новое дерево Кампаньи, спасающий от малярии эвкалипт, растет здесь в изобилии. Его прямые белые стволы и длинные шелковистые листья встречаются часто среди развалин. Чередование разнообразной и великолепной растительности с причудливыми обломками стен, с прорванными сводами, сквозь которые синее небо, с опрокинутыми колоннами, со ступенями из драгоценного мрамора и мозаичными по-

лами, искривленными пробивающейся среди них травой, придает редкую прелесть вилле Адриана... Вилла Адриана хороша еще тем, что она открывает перед нами что-то из частной жизни римлян... Это было личное, интимное заведение Адриана, его поместье, в котором хозяину был знаком каждый угол и в котором каждый новый гость был событием... К ней надо подходить с тем понятием о римской вилле, которое дают очаровательные письма Плиния Младшего. Исследователи находят в расположении отдельных зданий виллы Адриана ту же преобладающую заботу о солнце, которая так выражена у Плиния. Положение относительно солнца делает комнаты разными, как живые существа, веселыми или серьезными, приглашающими к легкой беседе, к настойчивым трудам или одиноким размышлениям”.

В своем очерке “1908-Рим” Борис Зайцев вспоминает и о том, как после посещения виллы Адриана и завтрака в скромной остерии под открытым небом (“запивали спагетти и сыр прохладным Фраскати”) они с Павлом Муратовым отправились пешком на виллу кардинала д’Эсте (XVI в.):

“Там другой мир и другой век — фонтаны Ренессанса, божество вод, аллея льющихся струй. Хоть и другая эпоха, но воды все те же, что и в самом Риме — сухопутном городе великих вод”.

А вот описание той же виллы д’Эсте (которой восхищались многие русские — от Карла Брюллова до Макса Волошина) самого Павла Муратова:

“Это вечный образ римской виллы, пленяющий наше воображение, какая-то вечная наша мечта. Обильные воды текут там, образуя тихие зеркальные бассейны и взлетая сверкающими на солнце струями фонтанов. Широкие террасы установлены рядами потемневших от времени статуй. Закругленные лестницы ведут к ним; зеленый мох лежит толстым слоем на их балюстрадах. Аллеи проходят под сводами вечнозеленых дубов. Солнечный луч пестрит тонкие стволы в рощицах мирт и лавров. Заросли папоротников занимают заброшенные сырые гроты, нежные пещерные травки свешиваются с их потолков. Мраморные скамьи стоят у подножия старых кипарисов, и их твердые смолистые шишечки сухо стучат, падая на мрамор. Все это есть на вилле д’Эсте, и никакое изображение не в силах представить богатство ее вод, расточительности фонтанов, величия бесконечно спускающихся лестниц и простора Кампаньи, открывающегося с ее высоких террас”.

С ноября 1911 г. по август 1912 г. П. Муратов (вместе со второй женой, Екатериной Сергеевной Грифцовой) находился в новой командировке в Италии от Румянцевского музея для написания двухтомника “Новеллы Итальянского Возрождения” (вышел в Москве в 1912 г.). Поздней осенью 1911 г. он снова оказался в Риме вместе с Зайцевыми; там же они вместе встречали и новый, 1912-й год. И вновь любимым местом их совместных путешествий была Римская Кампанья. Муратов вспоминал о новом посещении виллы Адриана:

“Однажды зимой небольшое наше общество замешкалось с осмотром Адриановой виллы. Вечерний туман захватил нас в Канопской долине. После краткого совещания мы решили ехать на ближайшую станцию железной дороги. С наступлением сумерек все странно изменилось на вилле. Тень вечера погасила блеск воспоминаний. Холодная сырость декабрьской ночи распространялась быстро, и казалось, что холод смерти разливается здесь реками туманов. Мы поспешили к выходу; те самые камни, мимо которых мы проходили здесь утром, казались уже другими. Все внушало леденящее кровь чувство небытия. Сторож, укутанный в плащ, проводил нас за ворота; на его лице мелькал неясный страх — страх ночи, лихорадки, привидений... По дороге к станции мы переехали Анио через Понте Лукано. Вода глухо шумела под мостом у круглой гробницы Плавтиев. Нам повстречались два-три запоздалых стада. Овцы жалась к изгородям; злые, взъерошенные собаки переглянулись с пастухами и не стали на нас лаять. На станции, в ожидании поезда, мы долго сидели в остерии, слушая, как усиливается ветер в Кампанье. Лампа вспыхивала и гасла, стены дрожали, и казалось, вот-вот рухнет кровля бедного жилья и прикроет нас, грязных ребятишек, стол с полулитрами желтого вина, ветхий диван, над которым висели портрет короля и пара скрещенных ружей. Когда мы вышли наружу, была уже совсем черная ночь; порывы ветра валили с ног. Как-как, держась друг за друга, мы добрались до платформы, освещенной двумя тусклыми фонарями. Шум падающей



воды и серный запах заставили вспомнить, что то была станция Альбулейских вод, знаменитых в древности и по-сеищаемых и теперь в летние месяцы приезжими из Рима. Но каким далеким казался Рим! Ночь и ветер скрывали пространства. Наконец спящий ночной поезд, шедший из Аbruцци, подобрал нас и после медленного пробега через какие-то темные пустыни высадил на сияющей городскими огнями площади Термини. Ничто уже не заставляло здесь думать о Кампанье. Лишь влажность воздуха, туман и мокрые плиты римских улиц были ее недалеким напоминанием”.

Очерки П. П. Муратова на итальянские темы публиковались в “Русских ведомостях”, “Зорях”, “Аполлоне”, “Золотом руне”, “Старых годах” и имели большой успех. Они и стали основой вышедших в 1912 г. двух томов муратовских “Образов Италии”, позднее многократно переиздававшихся. Среди итальянских “образов” многие посвящены Риму — “Чувство Рима”, “Античное”, “Христианский Рим”, “Высокое Возрождение”, “Барокко”, “Пиранези”, “Римская Кампанья” и др. В предисловии к “Образам Италии” Муратов писал:

“Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний. Дни, прожитые там, не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчетливее на фоне неумирающего прошлого. Прошлое Италии представляет главную тему этой книги. В нем больше жизни, настоящей вечной жизни, чем в итальянской современности. Она не внушает

вражды, мешающей верить в будущее итальянского народа, сохранившего многие прекрасные черты. Но, думается, душа этого народа полнее и вернее выражена в его старом искусстве, в судьбе его исторических героев и в религиозной древней связи с картинами окружающей природы. Италия принадлежит к великим темам, не устающим привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нем отдельной дорогой”.

В 1914 г. Муратов начал издавать журнал “София”, в котором сотрудничали и его друзья-италофилы Б. Зайцев, М. Осоргин, Б. Грифцов, М. Хусид и др. С началом войны призывается в действующую армию, служит офицером в гаубичной батарее на австрийском фронте; затем переводится на Кавказ. С весны 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат.

После большевистской революции, весной 1918 г., Муратов, в противовес большевистскому официозу, становится одним из организаторов (с 1921 г. — председателем) Института итальянской культуры — “Studio Italiano”, который просуществовал в Москве около пяти лет. (Его первым директором был Одоардо Кампо, гражданин Италии, живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея.) В институте, помимо самого Муратова и таких известных литераторов, как Осоргин и Зайцев, работали молодые преподаватели университета и сотрудники Музея изобразитель-

ных искусств — А. Габричевский, Б. Виппер, Н. Романов, А. Сидоров, М. Хусид, С. Шервинский. Лекции Института итальянской культуры проводились в аудиториях Университета Шаньявского, во 2-м Московском государственном университете (бывших Высших женских курсах в Мерзляковском переулке, д.1/5), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской, 12.

Просветительская и общественная деятельность Муратова привлекла внимание властей. В августе 1921 г. он был арестован чекистами вместе со всей Комиссией помощи голодающим. В Лубянской тюрьме Муратов оказался в одной камере с Б. Зайцевым и М. Осоргиным.

Зайцев: *“Первую ночь на Лубянке, в камере «Контора Аванесова», мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого «Тинторетто» я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал: «Ну, вот, вот и еще». Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом”.*

Для развлечения себя и других Муратов, Зайцев, Осоргин, другие заключенные читали в камере друг другу лекции об искусстве, литературе, истории.

В начале 1922 г. Муратов, как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения, вместе с семьей выехал в заграничную командировку в Германию, из которой в Россию не

вернулся. Осенью 1923 г. по приглашению итальянского слависта Э. Ло Гатто Муратов приехал в Италию для чтения лекций по русскому искусству. Вместе с женой Е. С. Грифцовой и сыном он поселился в Риме, где прожил на Via Babuino (около Piazza del Popolo) до 1927 г. Дочь поэта и философа В. И. Иванова (окончательно поселившегося в Риме в 1924 г.) Лидия Иванова с дружеской иронией писала о римском обиталище Муратова:

“Иностранцы, поселяясь в Риме, обычно проходят три стадии. Первая — они с упоением поселяются в старом районе. У них нет отопления. Окна не закрываются, ванна занята стирающимся бельем, все сломано и грязно — неважно, они в старом Риме, они в восторге... Наш дорогой романтический друг Павел Павлович Муратов может служить примером иностранца первой стадии. Как-то раз он искал квартиру. Нашел восхитительную, говорит он. Дешево. Это надстройка на крыше одного дома на Виа дель Бабуино. Какой воздух! Какая панорама! Буквально весь Рим! Вечером Павел Павлович ложится спать. Стены в щелях, продувные. Он накидывает на постель одеяло, одежду, все, что может, долго мучается и, наконец, засыпает. Вдруг его будит острый свет, падающий прямо в глаза. Он долго не понимает, что это такое, присматривается и видит: прямо над его кроватью звезда сияет сквозь дырки в потолке”.

На римской квартире П. Муратова бывали Вяч. Иванов, В. Ходасевич и Н. Берберова, художник Г. Шилтъян, архитектор А. Белобородов. Впоследствии Муратов жил

в Париже, побывал в Японии и Америке, а незадолго до войны перебрался в Англию, где пережил налеты германской авиации на Лондон. Умер П. П. Муратов в 1950 г. в имени друзей в Ирландии.

БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРИФЦОВ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ Грифцов (24. 05. 1885, Москва — 21. 12. 1950, Москва) — литературовед, искусствовед, переводчик. Окончил философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Печатался в журналах “Зори”, “Русская мысль”, “София”, “Власть народа”. Читал лекции в Народном университете А. Л. Шанявского; в летние каникулы ездил с группами земских учителей в Италию по линии благотворительного Фонда, организованного графиней В. Бобринской. В 1914 г. выпустил книгу “Город Рим” (в 1916 г. вышло второе издание этой получившей известность книги).

Весной 1918 г. Б. А. Грифцов стал одним из активных сотрудников “Studio Italiano” (“Итальянского Инсти-

тута”), организованного в Москве итальянским искусствоведом О. Кампи и группой русских италофилов — П. Муратовым, М. Осоргиным, Б. Зайцевым, М. Хусидом, А. Габричевским, С. Шервинским. В 1918–1921 гг. Грифцов регулярно выступал с лекциями на итальянские темы на сессиях “Studio Italiano”, которые проходили в аудиториях Университета Шаньявского, во 2-м Московском государственном университете в Мерзляковском переулке, д.1/5 (бывших Высших женских курсах), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской,¹².

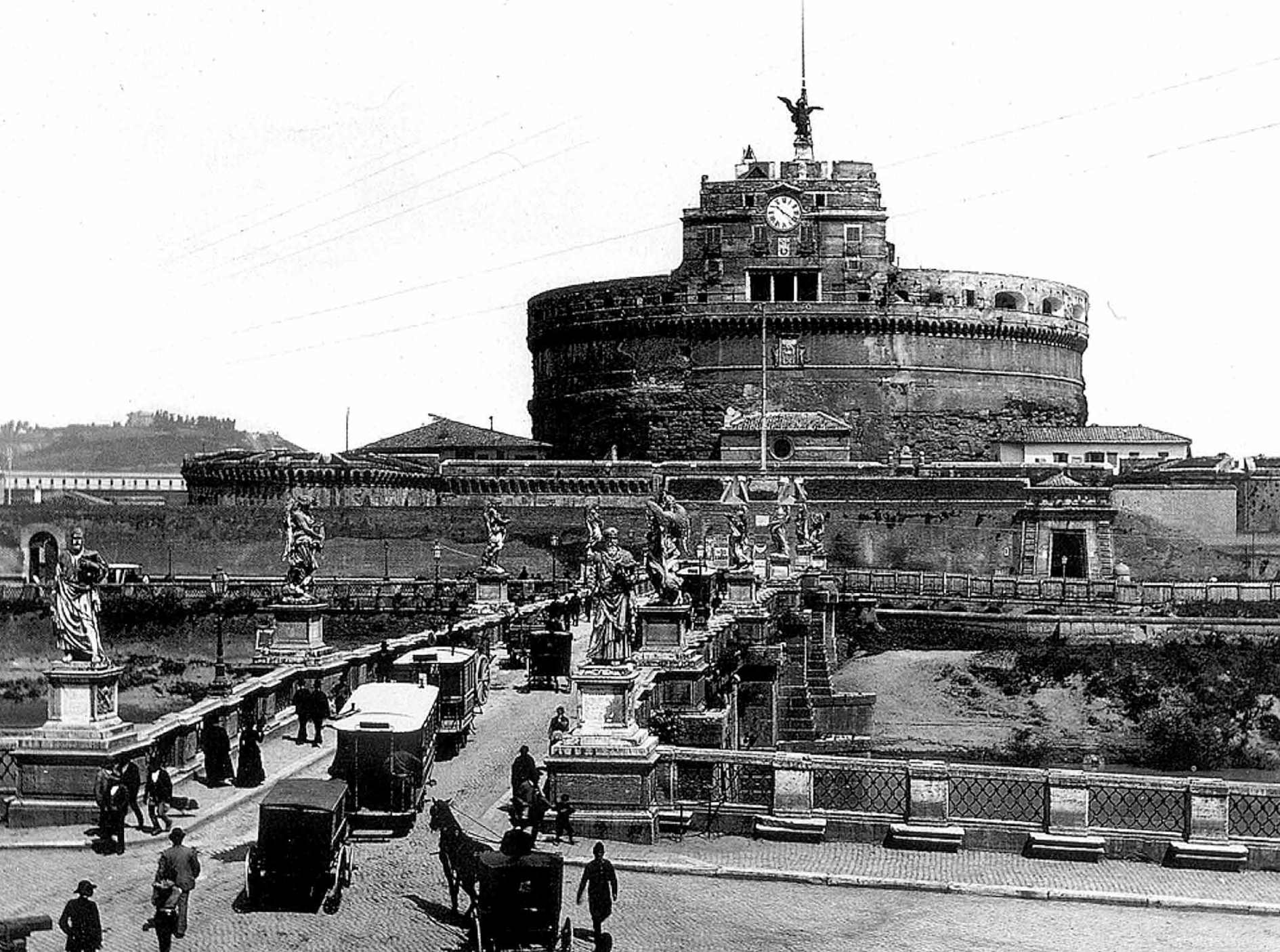
В отличие от многих своих коллег — литераторов и поклонников Италии (Вяч. Иванова, Б. Зайцева, М. Осоргина, П. Муратова), Б. А. Грифцов остался в Советской России и позднее стал известен как переводчик произведений Дж. Вазари, О. Бальзака, Г. Флобера, Р. Роллана, М. Пруста. Участвовал в составлении “Русско-итальянского словаря” (1934).

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ

359

Владимир Васильевич Вейдле (13.03.1895, Петербург — 5.08.1979, Париж) — поэт, литературный критик, искусствовед, историк-медиевист. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где учился, в частности, у таких знатоков Италии, как профессора Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Преподавал историю искусств в Пермском и Петроградском университетах, в Институте истории искусств. Писал стихи в духе акмеизма, был близко знаком с Ахматовой, Мандельштамом, Блоком.

В июле 1924 г. эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. С 1925 г. — профессор христианского искусства парижского Богословского института. После Второй мировой войны преподавал в Европейском кол-



ледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Кавалер ордена Литературных заслуг Франции. Близкий друг таких мировых знаменитостей, как Клодель, Валери, Элиот, Беренсон.

Прекрасный знаток Италии и Рима. В 1967 г. в Париже вышла его книга “Рим. Из бесед о городах Италии”. Многократно посещая Рим, В. Вейдле с иронией, но и с пониманием и симпатией относился к “культу Вечного города”, бытовавшему среди иностранцев. Вот одна из его римских зарисовок:

“В июльский полдень бравые баварцы, обливаясь потом, восходят на Паладин; на них толстые шерстяные куртки, такие же чулки, подбитые железом башмаки и зеленые войлочные шляпы с кокетливым петушиным перышком”.

“Европейское паломничество” в Рим В. Вейдле считал и естественным, и благотворным. Поэтому он полагал, что и традиция русских путешествий в Италию — это “залог европейского бытия России, ибо нет в Европе страны, где не было бы собственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии”. К числу благодарных римских паломников Вейдле относил и самого себя:

“Да и мы сами, нынешние гости Рима, разве нет у нас чувства, что мы — паломники здесь и что прибыли мы сюда хоть и не пешком хождением, как дальние наши предки, а все же по стопам других паломников? Паломником можно ведь назвать и того, кто предпринимает

странствие к местам пусть и не святым по его вере, но все же таким, где он чаёт воочию увидеть драгоценное, священное для него прошлое. Таким местом был, и по преимуществу был, для многих поколений, таким местом и для нас остался Рим. Даже и те, кто компактными стадами с вожаком во главе устремляются сюда, все же взирают на показываемое им здесь не с любопытством только, но и почти всегда с некоторой долей благоговения”.

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ

364

Владимир Семенович Высоцкий (25. 01. 1938, Москва — 25. 07. 1980, Москва) — поэт, автор-исполнитель песен, актер театра и кино. В конце июня 1979 г. Высоцкий полетел из Москвы в Париж к жене — французской актрисе русского происхождения Марине Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова). 2 июля 1979 г. они вдвоем прилетели в Рим: инициатором поездки была Марина, которая провела в Италии годы юности и считала ее своей “второй родиной”. В этот раз она должна была сниматься в роли Лукреции в фильме “Мнимый больной” (Il Malato immaginario) режиссера Тонино Черви; ее партнерами были такие звезды европейского кино, как Альберто Сорди (Аргант), Лаура Антонелли (Белина) и Бернар Блие (доктор Пургон).

В Риме Марина Влади забронировала номера в отеле “Madrid” на via Mario de Fiori, 93 недалеко от Испанской лестницы — отчасти из-за “испанской темы”, близкой

Высоцкому, только что отснявшегося в роли Дон-Гуана в “Маленьких трагедиях” по мотивам А. С. Пушкина. Кроме того, отель находился совсем рядом с рестораном “Otello alla Concordia” на via della Stose, в котором Марина любила обедать, бывая на съемках в Риме.

Для В. С. Высоцкого это было первое настоящее посещение Италии — до этого он лишь кратко бывал в Генуе, в порту которой в середине 1970-х гг. начинались и заканчивались средиземноморские круизы на теплоходе “Белоруссия”, где капитаном был его друг — Феликс Дашков.

К лету 1979 г. у Высоцкого закончились трудные съемки в “Маленьких трагедиях” Михаила Швейцера. Режиссер несколько месяцев боролся за то, чтобы ему разрешили снимать именно Высоцкого в роли Дон Гуана: “поэта должен сыграть поэт”. Швейцер вспоминал:

“Приступая к работе над «Маленькими трагедиями» Пушкина, я решил, что Дон Гуана должен играть Высоцкий... Дон Гуан — Высоцкий — это тот самый Дон Гуан, который и был написан Пушкиным. Для меня был важен весь комплекс человеческих качеств Высоцкого, которые должны были предстать и выразиться в этом пушкинском образе. И мне казалось, что всё, чем владеет Высоцкий как человек, всё это есть свойства пушкинского Дон Гуана. Он поэт, и он мужчина. Я имею в виду его, Высоцкого, бесстрашие и непоколебимость, умение и желание взглянуть в лицо опасности, его огромную, собранную в пружину волю человеческую, — всё это в нем было. И в

365



Владимир Высоцкий и Марина Влади на виа Кондотти
у подножия Испанской лестницы (июль 1979 г.)

иные минуты или даже этапы жизни из него это являлось и направлялось, как острое шпаги... Пушкинские герои живут «бездны мрачной на краю». И находят «неизъяснимы наслажденья» существовать в виду грозящей гибели. Дон Гуан из их числа. И Высоцкий — человек из их числа”.

Жена Швейцера и сорежиссер фильма Софья Милькина добавила:

“Равенство между Дон Гуаном и Высоцким для нас заключалось в соответствии каждого из них — личности самого А. С. Пушкина. И Дон Гуан, и Высоцкий — поэты, оба бесстрашные люди, бросающие вызов смерти, оба понимают любовь к женщине как борьбу духовную и победу над женщиной как победу в этой духовной борьбе”.

Сам Высоцкий так написал об этой роли:

“Для меня роль Дон Гуана была в диковинку. Десять лет назад они, конечно, предложили бы эту роль Тихонову или Стриженову. Потом подумал: почему, в конце концов, — нет? Почему Дон Гуан должен быть обязательно, так сказать, классическим героем? Во всяком случае, были очень интересные пробы, я не в силах был от этого отказаться. Хотя, честно говоря, хотел уже больше не играть... По-моему, «Каменный гость» — одно из самых интересных произведений Пушкина. Он написал это про себя. Он же сам был Дон Гуаном до своего супружества, до того, как из разряда донжуанов перешел в разряд мужей. В этой трагедии он сам с собой разделался, с прежним. Сам себе отомстил”.

Поначалу предполагалось, что Высоцкий будет играть в “Маленьких трагедиях” еще и роль Мефистофеля в прологе фильма — на эту вторую роль, кстати, в отличие от Дон Гуана, Высоцкий согласился сразу: “на Черта, на Мефистофеля я подхожу, а с этим... — не знаю”.

В июне 1979 г. для съемок пролога была подготовлена “натура” на берегу Каспийского моря — Высоцкий прилетел туда с гастролей в Минске совершенно больным. Милькина вспоминала:

“Высоцкий жаловался на сильную боль в горле. Когда я пощупала его лоб, он был горяч... Артиста знобило. Но он готов был приступить к работе. На берегу дул пронзительный холодный ветер. А сниматься-то надо было в одних трусах да еще барахтаться в холодной прибрежной воде... Потрясающим было то, что Высоцкий изъявил желание репетировать сцену. Он быстро устал и мы, режиссеры, оставили его в покое”.

Только позднее съемочная группа узнала, что 10 июня, после концерта в Минске, у Высоцкого был тяжелейший сердечный приступ, и весь полет из Минска в Баку ему было очень плохо (на роль Мефистофеля в итоге был приглашен другой актер).

В своей книге “Владимир или прерванный полет”, написанной в форме обращения к Высоцкому, Марина Влади потом написала:

“Я люблю Рим, и особенно квартал, который я тебе показываю сразу же по приезде. Я выбрала маленькую гостиницу на улице Марио де Фьори, в двух шагах от знаменитой



Отель «Madrid» на Via Mario de Fiori, где Владимир Высоцкий и Марина Влади жили в июле 1979 г.

лестницы на площади Испании, и от нашего ресторана с внутренним двориком, увитым виноградными лозами". В этот ресторанчик Марина и повела Высоцкого в первый же вечер, попросив захватить гитару: *"На маленькой улочке возле площади Испании в Риме находится ресторан «Отелло» — это моя столовая, как здесь говорят. Я прихожу сюда каждый вечер после работы, когда снимаюсь в Риме. Три дочери старого Отелло теперь хозяйки заведения. Это мои подруги, мы знакомы уже больше тридцати лет... Вокруг семейного стола уселись хозяйки, их дети, друзья, а за ними и все посетители ресторана потянулись к этому столу. Американские и японские туристы, пожилые обитатели квартала, отдыхающие в свежести вечера от почти тропической июльской жары, местные торговцы, врачи и санитары из ближайшей больницы — около двухсот пятидесяти человек больше двух часов стоят, прижавшись друг к другу, и слушают, как поет «русский»*".

Марина Влади, конечно, преувеличила и размер аудитории, и продолжительность импровизированного концерта. Хорошо сохранившаяся полная аудиозапись свидетельствует: Владимир Высоцкий пел немногим более получаса. Но успех действительно был полным.

Удивительна переключка эпох, о которой наверняка не подозревали не только Владимир Высоцкий и Марина Влади, но и хозяйева популярной в Риме trattoria. "Отелло" находится во дворе дома, известном знатокам как "Палаццо Понятовского" и построенном в конце XVIII в. сыном последнего польского короля Станисла-

вом Понятовским. Здесь почти полгода, с конца октября 1845 г. по май 1846 г., снимал скромную квартиру на четвертом этаже Николай Васильевич Гоголь. — Это было его последнее жилище в Риме (потом он будет там только проездом), и именно здесь Гоголь написал свои прощальные римские строки: "Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься"

В римском отеле "Мадрид" Владимир Высоцкий продолжал сочинять: в бумагах поэта и актера сохранился черновик стихотворения "Еще бы не бояться мне полетов..." — на фирменном бланке отеля.

14 июля 1879 г., уже на следующий день после возвращения из Европы, Владимир Высоцкий дал в Москве очередной большой концерт в Плехановском институте, а через несколько дней отправился на гастроли в Узбекистан. Там ему опять стало плохо с сердцем, и 28 июля, прямо в гостиничном номере в Навои, случилась клиническая смерть. В тот раз его удалось спасти...

Владимир Семенович Высоцкий скончался в Москве через год, 27 июля 1980 г. За месяц до смерти он снова побывал в Италии — на одни сутки прилетал к Марине Влади в Венецию.

Роль Дон Гуана в "Маленьких трагедиях" так и осталась последней крупной ролью Владимира Высоцкого в кино. Режиссер Софья Милькина как-то заметила:

"Смертельно тяжелым оказалось для него пожатье каменной десницы Командора, которому он всю жизнь бесстрашно бросал вызов".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ
О

РИМЕ

ПЕРВАЯ
ВСТРЕЧА
С РИМОМ

375

Н. ГОГОЛЬ

1837

“Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить...”

Письмо А. С. Данилевскому, 15 апреля 1837 г.

М. ПОГОДИН

1839

376

“Дилижанс едет. Рассветает... Прекрасное утро! Я упрямил кондуктора взять меня к себе, на перед, чтоб смотреть удобнее вокруг и поймать первую точку вечного города, как она мелькнет на горизонте... Места пустые, совершенно бесплодные, начались верст за сорок до Рима. Не видать ни одного дерева. Кое-где торчит скудный кустишко. Зелени нет. Вся земля как будто вымерла. Никакого жилья... Здесь господствует *Malagia*, зловредный воздух. Рим стоит как оазис, окруженный им со всех сторон... С чувством стесненным приближался я к Риму. Вон купол Св. Петра, воскликнул вдруг кондуктор и схватил меня за руку, а другою указывал точку, черневшую вдали. Я вздрогнул, встал и поклонился... Нетерпение увеличивается с каждым шагом. Наконец, город становится виднее и виднее, а вокруг сторона бесплодная и пустынная до невероятности. Ближе и ближе, и вот подъезжаем к воротам *Porta del Popolo*. В Риме мы, в Риме!”

М. П. Погодин. *Год в чужих краях*. 1839. Дорожный дневник. М., 1844, ч. 2, с. 1-2.

Ф. БУСЛАЕВ

1840

377

“В три часа пополудни, за 15 миль, показался нам на отдаленном горизонте этот чудесный город. Я сидел в передней коляске дилижанса и потому мог наслаждаться вполне необъятной панорамой, которая открылась нам с последнего спуска на огромную равнину, на которой лежит Рим. Вправо в солнечном тумане волновались грациозными линиями горы... Рима еще не видать было за большим холмом влево; когда же мы обогнули его, вдали на конце горизонта открылась темноватая полоса, которою раскинулся вдали Рим: здания сливались в одну сплошную массу, и только один Св. Петр своим куполом возносился над этой полосой, подобно вещи голове сказочного исполина, лежащего на костях всемирного побоища народов, и высоко рисовался по синему небу; все исчезло в пространстве и сливалось с землею, от которой величаво поднимался купол великого храма храмов... Так верую возносится душа над сутолокою житейских забот... Есть на земле счастье! Возвышеннее и блаженнее того, что я вкушал сегодня, не могу себе и представить!”

Ф. И. Буслаев. *Мои воспоминания*. М., 1897, с. 236-237.

А. ГЕРЦЕН

1847

378

“Не могу сказать, чтоб Рим с первого раза сделал на меня особенно приятное впечатление. В Рим надобно вжиться, его надо изучить; хорошие стороны его не бросаются в глаза, в наружности города есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачные улицы, его угрюмые дворцы и некрасивые дома печальны; в нем все почернело, все будто после покойника, все пахнет затхлым, так, как в Петербурге все лоснится, все пахнет известью, сырм, необжитым. Всего более поражает в новом Риме отсутствие величия, т.е. именно ширины, того, что мы привыкли сопрягать со словом «Рим»... Рим — величайшее кладбище в мире, величайший анатомический театр, здесь можно изучать былое существование и смерть во всех ее фазах... Первое, что поражает человека, не свихнувшего свой ум мистическими бреднями, — это следы жизни смутной, дикой, отталкивающей, исключительной, которою сменяется широкая, могучая, раскрытая жизнь древнего Рима. В древнехристианском Риме не видать ни малейшего понятия об искусстве, никакого чувства изящного; застроенные в стены колонны, порталы стоят вечными свидетелями благочестивого безвкусия того печального мира, кото-

рый заменил мир Пантеона и Колизея... Когда я первый раз вышел на Капитолийскую гору и вдруг очутился над Форумом и Колизеем, я остановился, смущенный и взволнованный. Вот он, остов великого деятеля! В гигантском скелете сохранилось царственное выражение. Forum Romanum — великие светские мощи мира чисто светского; вечный Рим тут, по этим развалинам легко понять, кто были римляне”.

А. И. ГЕРЦЕН. *Письма из Франции и Италии*. 1847
Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 78-79.

И. АКСАКОВ

1857

380

“Рим, когда вы в него въезжаете, взволнованные ожиданием, производит самое странное впечатление. Вы видите город современной постройки, грязный, вонючий, с высокими домами безобразной архитектуры, даже без всякой архитектуры: один дом приложен к другому, но не симметрично, а разной высоты; улицы, будто задний двор: под окнами везде висят веревки, а на веревках грязное белье. Везде снуют монахи и аббаты в чулочках; образа, статуи святых в нишах и на улицах, в домах — все говорит о католицизме. Папские чиновники, папские солдаты поражают вас неприятнее, чем где-либо: во Франции, например, вас интересует администрация, вы с любопытством смотрите на чиновников, на войско, но в Риме вам бы и не хотелось вспоминать об этом порядке. Вас задерживают в полиции, вас мучают в таможне. Правда, подъезжая к Риму, вы видите издали купол Св. Петра, мелькнет он вам и при проезде через город, но так уж известен вам фасад Петра и по картинкам, а главное, по подражаниям, что издали, по крайней мере на меня, он не произвел никакого действия; его колоссальность видна только вблизи. Но вот вдруг, при каком-

нибудь повороте, увидите вы полуразвалившуюся арку громадных размеров и на ней сохранившуюся надпись: **SENATUS POPULUSQUE ROMANUS** (Сенат и римский народ), все в вас вздрогнет невольно, будто весь древний мир встал на ноги, лицом к лицу, заговорил с вами.”

Письмо родным 4 июня 1857 г.

М. ВОЛОШИН

1900

382

“Рим... Я увидел его в первый раз с Monte Pincio. Под тенью старых каштанов и магнолий был зеленоватый полусумрак, впереди, в рамке зелени сочных кактусов и пальм, под нестерпимо жгучими лучами итальянского солнца, голубым облачком клубился стройный купол Св. Петра. Был полдень. Магазины все закрыты, и на улицах ни души. Но тогда я еще не почувствовал его. Я почувствовал его вечером, когда мы сидели у одной русской <Н. Д. Шаховской-Хельбиг>, живущей постоянно в Риме, в старинной вилле <вилле Ланте>, построенной в XVI веке Джулио Романо. В темном небе стоял полный месяц, «сияя без лучей», а внизу, прямо под ногами лежал весь Рим, сверкая огоньками, как будто подернутыми лунной дымкой. Линия огней тянулась по Тибру, на Квиринале сверкали огни. Одни кварталы уже замерли в темноте, другие еще светились редкими огоньками. Над всем городом висело какое-то смутное бормотанье — далекий шум засыпающего великого города. На горизонте смутно мерещились Альбанские горы и одинокая вершина Соракты налево. Пахло цветами. Внизу кричали лягушки... На звездном небе темные силуэты кипарисов... Рим не захватывает сразу, как

другие города, как Генуя, как Париж, которые сразу бьют в глаза всей своей оригинальностью. Рим слишком разбросан (хотя он, в сущности, не особенно велик), и он поражает сперва то отдельной развалиной, то видом, то церковью, и только потом это все начинает соединяться в одну картину”.

Письмо А. М. Петровой, 20 июля 1900 г.

Б. ГРИФЦОВ

1910-е

384

“Как разнообразен и холоден Рим, как искусственно соединились здесь различные эпохи, несовместимые друг с другом архитектурные линии, — с таким чувством бродишь здесь первые дни. Как можно связать милую бедность молчаливых средневековых церквей с театральностью барокко, с манерностью его статуй, с изогнутостью его линий? Что общего между античностью и не менее заметным папским Римом? И воспоминания об античности, слишком фрагментарные, только вкрапленные в современные ансамбли, кажутся недоступными, уже навсегда потерявшими свой смысл. Самой античности разве не придал холода и сухости рационалистичный, государственный Рим? Недоумеваешь, почему так настойчиво говорят о душевности Рима... И только Форум, увиденный на закате с площади Капитолийского холма, положит конец этой тягостной отчужденности от Рима. Когда после вспоминаешь первый вечер, погасающий над Форумом, вспоминается с благодарностью и Капитолийская лестница, которая своими широкими покатыми ступенями отделяет суетящуюся внизу, еще бесформенную, неуловимую современную жизнь от строгих форм руин... Здесь свой целый

мир, отделенный стенами и зеленью Палатинского холма, стеной Колизея и синеватыми линиями Альбанских гор вдали... Немногими основными линиями намечена сущность этого прекраснейшего в мире пейзажа: мрамор, зелень, закат. На трех колоннах, стройность которых заметишь раньше всего, уходящее солнце горит живым пламенем. Античный ли мир с его не повторившимся больше в истории ощущением эстетической гармонии открывается сердцу? Или самая мысль о разрушительной мощи времени так усиливает восприимчивость? Во всяком случае, этот вечер остается самым сильным впечатлением всей жизни. Восторженность, красота — старинные слова, которым почти перестал верить, только и могли бы передать его силу”.

Б. А. Грифцов. *Рим*. 2-е изд. М., 1916, с. 28–30.

Б. ЗАЙЦЕВ

1919

386

“Известно, что Рим самый трудный, «медленный» город Италии. Как творение очень глубокое, с таинственным оттенком, он не сразу даст прочесть себя пришельцу. Помню ночь, показавшую мне раз навсегда Венецию. Помню блаженный день, когда узнал Флоренцию. Не таков Рим. Он встречает неласково, почти сурово. Все, кто бывал в Риме, знают ощущение чуть ли не разочарования, когда со Stazione Termini въезжаешь в этот город с шумными трамваями, бесцветными домами via Savoia, неопределенной уличной толпой, неопределенными витринами магазинов. Все что-то неопределенное. Не плохо и не хорошо. Если столица, то второго сорта. Если древность, искусство — где они? И главное: где лицо, дух, сердце города? В первый раз я был в Риме юношей несколько дней. Рим мне тогда не дался. Форум, Микель-Анджело, Паладин, катакомбы, Аппиева дорога... но целого я не почувствовал. С тех пор мне дважды приходилось жить в Риме, и его облик, кажется, до меня теперь дошел. Я ощущаю его голос, мерный зов его руин, его равнин. Великое молчание и тишину, царящие над пестротой жизни”.

Б. К. Зайцев. *Рим* (1919) // Собрание сочинений в 7 тт. Пг. — Берлин, 1923, т. 5, с. 85.)

“ЧУВСТВО
РИМА”

387

Н. ГОГОЛЬ

1837

“Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства — все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству... Перед Римом

М. ПОГОДИН

1839

все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, в такое продолжительное наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней нет? Я читаю ее, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно. Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены... Хотите — рисуйте, хотите — глядите... не хотите ни того ни другого — воздух сам лезет вам в рот”.

Письмо А. С. Данилевскому, 15 апреля 1837

“Долго, долго стоял я на этой знаменитой Площади (forum Romanum maximum), где столько веков решались дела Рима, дела царств, народов, всей вселенной, orbis terrarum, по выражению Цицерона. Пусто и тихо... Боже мой! Что же значит эта человеческая твердость, что значит эта человеческая слава, которою так надмеваются люди? Эти каменные глыбы домов, и слов, и действий, которым я сей час удивлялся, пыль и прах! Поднялся вихорь и разметал все, и ничего не осталось. Здесь, здесь именно, да разве еще на острове Св. Елены, можно из глубины сердца воскликнуть... суета сует — и всяческая суета! Что сказал бы Цицерон, Помпей, Цезарь, если бы предрекли им эту судьбу Рима! Люди, люди, приходите сюда удостовериться в бренности вашего естества, тщете всех ваших предприятий и замыслов. Если Рим так упал, кто же из вас может надеяться на свою силу, крепость и твердость? И на какую силу можно надеяться? Упал — этого мало, утонул в тине, в грязи, подвергаясь, гордый, такому унижению, такому позору всесветному! Не знаешь, была ль выше его слава или глубже падение? О, какой урок, какой урок, если кто умеет ими пользоваться! Величие, видно, не на земле”.

389

М. П. Погодин. Год в чужих краях. 1839
Дорожный дневник. М., 1844, ч. 2, с. 8-9.

С. УВАРОВ

1843

390

“Рим есть неподвижный берег, мимо коего бегут волны. Он неизменен, они сменяют одна другую... Единогласно толкуют о печали, царствующей в Риме; не знаю, искажала ли мое суждение радость, испытанная мною при въезде туда, но Рим не показался мне печальным. Когда, после, я проходил дорогу Аппиеву до гробницы Сецилии-Мартеллы, или, достигнув дорогой Нументанской Нарзесова моста на Анио, при заходящем солнце, с священной горы, бросал взор на римские поля, я чувствовал себя глубоко растроганным; но это чувство — напрасно бы старался я определить его; во всяком случае, пошлое слово печаль весьма дурно выражает упоительное ощущение тишины и задушевного наслаждения, порождаемое развертывающеюся великолепною картиной... Рим — тихое убежище, беспрестанно отверстое падшему величию и умам разочарованным, самым ярким и самым неизвестным скорбям; там не забываешь своих несчастий, но несешь их бремя с большим мужеством; горечь облекается стыдливостью на земле, смоченной кровью и слезами. Тут, где столько людей страдало, где пало столько поколений, предаешься с какой-то осмотрительностью впечатлениям чисто личным. Человек

мыслящий и чувствительный, человек, приготовленный занятиями и вкусом к этому возвышенному зрелищу, скоро с ним роднится... Не только чувство художническое развивается тут с внезапною силою. Нет — все воспоминания жизни, все размышления зрелых лет, все беглые мечты юности воскресают разом; в этой волшебной толпе воображение, тихо растроганное, ловит прозрачные черты, неопределенные облики предметов самых милых, таинственный отголосок самых глубоких пристрастий сердца; невольно глаза увлажняются слезами. И никто не оставляет сей ограды, не благословляя судьбы, которая уделяет умам счастливое, незаменимое блаженство, полное вознаграждения за усталость долгого странствия, скажу даже, за недочеты минувшего бытия”.

С. С. УВАРОВ. *Рим и Венеция в 1843-м году*.
Дерпт, 1846, с. 3-5, 11-12, 25.

А. ГЕРЦЕН

1847

392

“Древний Рим пал, как могучий гладиатор, его колоссальный остов внушает благоговение и страх, он и теперь гордо и торжественно борется против разрушения, время не могло сокрушить его костей; его остатки, ушедшие в землю, разваливающиеся, покрытые плющом и мохом, величественнее и благороднее всех храмов Браманте и Бернини. Каков был мощный дух, умевший так отпечатлеть себя на этих каменных ребрах, что полустертый след его подавляет собою два, три Рима, выстроенные возле и строившиеся века!.. Рядом с костями полубога, героя, возле них, около них, а частью на них замерла другая жизнь, жизнь средневековая; печальная, суровая мумия его наводит уныние, смерть сохранила изнуренные постом и молитвой формы, образ монашеский и болезненный. В Риме нет ни одного замечательного памятника средних веков; весь этот византизм и готизм был не в натуре итальянцам, всего менее римлянам. Они не настолько южны, чтоб предаваться сладострастию аскетизма, и не настолько северны, чтоб млеть в мечтательном мистицизме. Климат Италии слишком светел для истомы плотоумерщвления. Итальянца тянет из-под готической стрелки к спокойному куполу, он не

стремится вместе с теряющимися колокольнями... туда, туда — ему и здесь хорошо... Жизнь средневековая для Рима была не цветение, как для Бельгии, а болезнь, искупление старых грехов, изнеможение от избытка жизни и страстей... Языческая закваска никогда не проходила в Италии, ей равно не прививались ни учреждения благоустройства и тишины, о которых так старались гибеллины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь мир, за исключением Италии... Рим обнищал и, настоящий итальянец, сидит в лохмотьях, а похож на царя и не думает о том, как горю помочь. Рим, как все венчаные главы, не привык заботиться о материальных нуждах. Он уверен, что он по-прежнему первый город во вселенной, что торговля всего мира стремится на его рынки, что он нравственный центр христианства и что Европа лучше ничего не просит, как прислать ему все, что нужно, от восковых свечей и ладану до драгоценных камней и слитков золота. Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона и тем больше внимание сосредотачивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все

И. ТУРГЕНЕВ

1857

меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырисовываются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее...”.

А. И. ГЕРЦЕН. *Письма из Франции и Италии*. 1847
Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 79–82.

“Рим — именно такой город, где легче всего быть одному. А захочешь оглянуться — не пустые рассеянья ожидают тебя, а великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности перед ними, как бы следовало ожидать, а, напротив, поднимают тебя и дают душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое. Если я и в Риме ничего не сделаю, — останется только рукой махнуть...”.

395

Письмо Е. Е. Ламберт, 15 ноября 1857 г.

“Рим — прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное — близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работается вкуснее, и уединение не тяготит. И потом этот дивный воздух и свет! Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный: каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле; каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна”.

Письмо П. В. Анненкову, 13 декабря 1857 г.

Ф. БУСЛАЕВ

1875

396

“Какую же притягательную силу имеет в себе этот необыкновенный город, куда съезжаются со всего мира, чтобы променять столичные удовольствия и забавы на тишину провинциальной жизни?.. Этот беспримерный в свете город, поистине город вечный, имеет в себе нечто такое, что его ставит в интересах цивилизованного человечества выше временных случайностей его столичного положения. Что он сделался теперь резиденцией правительства всей Италии — для приезжающих сюда иностранцев вообще не имеет большого значения... Эстетики говорят, что зрелище безграничного моря или горных высот, теряющихся в облаках, производит чувство высокого; в той же мере может внушать это чувство и бесконечная даль веков в сравнении с проходящими современными событиями, и это нигде в мире не может быть так ощутительно, как в стенах Рима”.

Ф. И. Буслаев. Римские письма. 1875
Мои досуги. М., 1886, т.1, с. 62–63.

С. ФЛЕРОВ

1882

397

“По Риму, по «вечному городу», бродишь, затаив дыхание, с тем священным ужасом, который овладевает человеком, очутившимся лицом к лицу перед внезапно восставшими перед ним тенями прошлого. Из каждой пылинки, из каждого атома римской почвы восстает такая тень, и всюду, и со всех сторон окружают вас в вечном городе эти тени, и нет вам нигде от них покоя; на каждом шагу смотрите вы в мертвые очи, и под вашим взглядом очи эти оживают, раскрываются и вы читаете в них повесть минувшего. Нет атома в римской почве, в котором не дрожал бы отзвук боевого клика, ораторской речи, безумного крика толпы, на котором не засела бы алая росинка мученической крови...”

С. Васильев <С. В. Флеров>. *Картинки Италии.*
Письма из Рима и Флоренции (1882). М., 1894, с. 310.



П. МУРАТОВ

1911–1912

400

“Одна особенность замечена всеми, кто писал о Риме. Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто не испытал бы его после более или менее продолжительного пребывания... Здесь, в этом старинном гнезде путешественников, на тех улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Монтень, Пуссен, Китс, Гете, Стендаль и Гоголь, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств... Сколько раз, спускаясь в сияющее утро по этой <Испанской> лестнице или поднимаясь по ее влажным камням в теплый дождливый вечер, хочется повторить здесь всем сердцем замечательные слова Гете: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным». Счастлив поистине тот, кто всходил здесь в декабрьские дни, чтобы после свежести затененных улиц почувствовать благодетельное тепло на вечно солнечном Пинчио, кто стоял на верхней площадке в ночи, веющие душным сирокко, колеблющим пламя фонарей и сгибающим струи фонтанов, кто в ослепительном блеске поздней весны искал здесь любимых роз или остро и старинно пахнущих ветвей

На предыдущем развороте: Старый рынок на Campo de Fiori (фото конца XIX в.) В центре — открытый 9 июня 1889 г. памятник Дж. Бруно.

жасмина! В этом счастье, которое дает испытывать Рим, есть что-то похожее на счастье быть молодым — ждать с трепетом каждого нового дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра, верить в неистраченное богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что всюду вокруг бьют ее неиссякаемые источники. В начале жизни мир полон очарования, но разве не прав был Гете, воскликнувший в своей первой римской элегии: «О Рим, ты целый мир...» И эта молодость души в Риме не проходит даже так скоро, как обыкновенная молодость человеческой жизни... Эта вечная зелень, венчающая холмы и руины Рима, волнует и очаровывает сердца северных людей, точно слова античного мифа или явление древних божеств. Превращение Дафны так понятно перед живыми и человеческими словами лавров, растущих около казино Фарнезе на Палатине или в храме Юлия Цезаря на Форуме... Утраченный мир получеловеческих-полуприродных образов открывается здесь снова. Здесь обостряется способность угадывать напоминание о древних, как мир, вещах в этом металлическом шуме листьев, в этом аромате горькой зелени и влаги. Рим проникнут чувством обожевленного дерева, и фиговые

401

деревья, так часто встречающиеся во дворах, на улицах, прорастающие в трещинах развалин и взбирающиеся на плоские крыши старых домов, говорят о пережившем века инстинкте народа, почитающего дерево, которое осенило некогда зарю его существования. Другое чувство, неотделимое от чувства Рима, — это чувство воды. О царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоемов, щедрость источников и расточительность фонтанов. Древние акведуки, возобновленные папами, Аква Паола, Аква Марчия, Аква Феличе, питают его такой великолепной водой, какой не может похвалиться ни одна из европейских столиц. Но лучшая вода — это изумительно чистая, свежая и вкусная Аква Вирго, изливающаяся каскадами фонтана Треви. Надо вырасти под этим солнцем, знать палящий зной августовских дней и лихорадочные испарения Понтинских болот, чтобы испытывать то восхищение, с которыми наполняют кувшины водой Треви приходящие в Рим по воскресеньям обитатели Кампаньи... Так проходят дни жизни в Риме. Их трудно считать, и они текут легкой чередой, образуя недели, месяцы, годы. Какая убаюкивающая сила должна быть в этой жизни, оправдывающей-

ся одним скользящим впечатлением, мелькнувшим образом — утренним силуэтом Соракте, увиденным с Понте Маргерита, трепещущими в полуденном свете очертаниями ряда далеких пиний за виллой Памфили. С каждым таким видением странным образом крепнут нити, привязывающие нашу судьбу к судьбе этого удивительного города. Интерес к Риму не слабеет никогда, и нет пределов для внимания, устремленного к мельчайшим чертам и подробностям его облика... Рим дорог тем, что в нем так прекрасно и так печально. Здесь все проникнуто важным раздумьем свершения, свободным от утомляющей суеты действия. Формы жизни найдены и много раз повторены в веках. Материальное значение вещей изжито, освобождена их духовная сущность. Все, на чем останавливается здесь взор, — гробницы, но так долго обитала здесь смерть, что этот старейший и царственнейший из ее домов стал, наконец, самим домом бессмертия”.

П. П. МУРАТОВ. *Чувство Рима*. 1911-1912
Образы Италии. М., 1994, с. 211-213, 216, 220-221.

Б. ГРИФЦОВ

1910-е

404

“Нет города, где скопилось бы больше противоречивых культур, чем в Риме. Периодами разрушения не сменялись в нем периоды строительные, но именно в нем будет возникать с исключительной настойчивостью мысль о единстве человеческих судеб, об единстве чувства, которое в разные времена находит в себе только различные словесные выражения, всегда оставаясь шире и убедительнее, чем эти различные слова. Если рассуждать отвлеченно, трудно было бы называть приобщенным к культуре того, кто не совершил паломничества в Италию, не коснулся ее искусства, идей Ренессанса и античности... Еще настоятельнее, хотя и труднее для совместной формулировки остается Италия и больше всего Рим, как сердечная потребность, как необходимое расширение душевной культуры, как молитва неведомому богу... Это чувство гораздо более широко и требовательно, чем отвлеченный исторический интерес. Не столько занимает здесь любопытство к тому, как жили когда-то люди, сколько влечет надежда на какое-то обновление, на то, что удастся коснуться вековых сторон человеческой жизни, найти для себя лично чувство меры и утерянной гармонии... Для разных эпох и

для разных людей меняется периодами подход к Риму. Но в нем же заключена удивительнейшая возможность найти единство, если не в теории, то в чувстве, и, отданные созерцанию, дни в Риме забываемо должны обогатить личный опыт каждого туриста. Рим переживается, как неисчерпаемая любовь, для которой находится много причин и которая не может быть объяснена ни одной из них, не объясняется даже всеми ими вместе... Что придет на память, когда издали подумаешь о месяцах, проведенных в Риме? О Риме вспоминаешь, как о спокойном прибежище от волнений, от неразрешимых противоречий чувств и мыслей. Там снова вернется спокойствие, что не случилось бы за те годы, которые придется провести вдали от него. Как об единственном верном прибежище и непреодолимой душевной тишине не может думать о Риме путник, даже переставший верить в общие идеи среди раздробившейся на частности и суету жизни”.

Б. А. Грифцов. *Рим*. 2-е изд. М., 1916, с. 12, 76.



М. ОСОРГИН

1910-е

408

“Я не хочу пытаться определить чувство Рима; это — непосильная задача. Но я бы сделал одну прибавку ко многим старым и новыми определениям. Любовь к Риму — это любовь к родине; тоска по Риму — это тоска по родине. Эта кажущаяся странность и есть, может быть, то особенное, что выделяет Рим из всех других городов мира. Рим — родина космополита, дом гражданина мира. И тот, чей дух блуждает, чье чувство не имеет в мире угла, который назывался бы домом, тот, раз побывав, стремится в Рим, с которым он уже связан навеки... Рим — родина духа блуждающего и ищущего, тот, кому в мире холодно и неудобно, находит здесь тепло, ласку и привет. Есть ласка и в Париже, но та ласка продажная; только Рим согревает бескорыстно, даря от избытка и от привычной расточительности. В нем такой запас света, прекрасных линий и нежных оттенков, что даже современный, застроенный и урегулированный Рим еще имеет право быть щедрым по-царски. Тот, кто дома видел только серое и среднее, находит здесь величие, которое подавило бы везде, но которое в Риме приглашает приблизиться и сдружиться. Грандиозный Колизей мог бы устрашать своей циклопичностью и своей истори-

ей; в Риме же вы входите в него с улыбкой, так же смело днем, когда он залит солнцем, как и ночью, когда фантастический свет луны превращает эту колоссальную развалину в царство сказок волшебных, но не страшных... Чувство Рима, уже проникшее вас, смягчило резкость теней и населило провалы Колизея сказками добрыми... Рим — старый любезник, но не теряющий достоинства. В нем есть все, на все вкусы, кроме пошлого. Любителя шумной современной жизни он зовет к закату на Корсо Умберто и показывает ему, как римская толпа отрицает порядок движения и как люди и экипажи умеют двигаться рядом и попеременно, не беспокоя друг друга. Он зовет мечтателя на площадку, с которой виден на ладони весь форум в остатках мрамора и темная масса Палатина — направо. Затем он блеснет рядом тусклых огней на набережной Тибра, очертит на небе силуэт пиний на Монте Пинчио или кипарисов на стороне Ватикана. С той же охотой он заманит вас в скромное кафе, где посетители говорят о делах войны и мира, о женах, дочерях и женщинах и сидят гораздо дольше, чем того требует пищеварение и хотели бы лакеи. Когда же вам захочется быстрым шагом сменить улицу переулком, он внезап-

409

На предыдущем развороте: Стоянка карет на Испанской площади (фото конца XIX в.).

но, все с той же охотой, покажет вам столько фонтанов, странных, причудливых, живописных, неэкономных на воду, что вы невольно протянете ладонь к одной из струй. Тогда он вдруг пахнет на вас пригорелым маслом пиццерии... и выведет к темному, роскошному палаццо, во дворе которого журчит вода в большой раковине барокко, затянувшейся темным мохом и завитой плющом. Промчится автомобиль, прозвенят бубенчики винной арбы, возвращающейся в деревню, и снова перед вами — либо античная развалина, либо модный магазин. Все это спутано, нагромождено, все связано общей жизнью и все проникнуто единым и неразделенным, сладко волнующим чувством Рима... И тогда вечный город начинает делаться вам родным. Ну да, вы родились в нем и мыслью жили в нем всегда! Вы помните толпу рабов и патрициев, трибуны ораторов, статуи победителей в беге колесниц. Вы жили тут в эпоху развратных пап и шумных карнавалов, жуликов, солдат, монахов, художников, иностранных гостей и набожных старух... Рим — ваша Родина; когда-то какая-то нелепая, необъяснимая случайность унесла вас отсюда в другой край, который вы пытались любить, считая его родиной. Но это было

лишь сном, тяжелым и напрасным! Там было холодно, неприятно, там всегда не хватало красоты, ласковости и той связи с веками ушедшими, но живыми, без которой сама жизнь кажется лишь случайностью, лишь ленточкой между двумя вечностями: из мрака на свет лишь на мгновение, чтобы опять — во мрак. Здесь — не то; здесь вы окружены предками и творениями предков, здесь все полно памяти, все связано с ближним и дальним прошлым связью тесной, необходимой, такой понятной и законной, такой возвышающей. Здесь вы — не затерявшаяся песчинка, не бесправный и обездоленный, не угнетатель и командующий, не выборщик и избиратель; здесь вы — просто и только гражданин вселенной, нашедший свой дом. И это чувство высокого подъема, свободной любви ко всему и всем безраздельно, жажды вечности и вечной красоты, это чувство, наполнившее вас, льющееся через края нашего сознания, — это чувство и есть чувство Рима”.

М. А. Осоргин. *Очерки современной Италии*.
М., 1913, с. 112–114.

Б. ЗАЙЦЕВ

1919

412

“В жизни римского пилигрима Монте Пинчио и вилла Боргезе играют роль большую. Многие из нас живут поблизости. Многие любят тихие аллеи виллы Боргезе, ее казино, лужайки, храм Фаустины, молочную ферму, где в синеем римском вечере хорошо сидеть и пить молоко с трубочными пирожными, дышать воздухом свежим и легким и в просветы деревьев любоваться дальним Monte Mario. Многие водили своих детей из пансиона на via Veneto или via Augusto, замшелыми воротами Porta Pinciana в зверинец виллы Боргезе, где смешны обезьянки и горестен орел пленный, в оранжево-зеленой заре; гуляли с ними у ипподрома, где скачут по утрам нарядные кавалеристы; катали их по Монте Пинчио на осликах, запряженных в маленькие повозки с поперечными скамеечками, куда за несколько сольди насаживаются ребята. Просто сидели на Пьяцца дель Пополо, слушая музыку, наблюдая пеструю, к вечеру нарядную толпу. Эти прогулки, чуть не ежедневные, установили связь с Монте Пинчио; точно принят уж человек под покровительство местных божеств. Способностью своею подчинять, медленно околдовывать Монте Пинчио очень, очень полно духа Рима. И, быть может, одно

из очарований места этого есть ощущение соприсутствия Риму... Здесь Рим не поражает; он обычнее, но он, быть может, и значительнее в повседневности своей; там — праздник, здесь — постоянное созерцание лица дорогого и глубокого... Вечер Риму идет. Захватил ли он вас на мосту через Тибр, когда пепельно розовеет закат над Ватиканом, а в кофейных волнах, быстрых струях ломаются золотые отражения фонарей; или на Монте Пинчио, вечер краснеющий, с синеем мглой в глубине улиц; или у Капитолия, тихий и облачный, когда стоишь над Форумом, вглуби чернеют кипарисы, Арка Тита, даль за ней смутно-фиолетовая да несколько золотых огоньков — всегда это очень сливается с Римом, всегда ощущаешь — вот это и есть стихия его, задумчиво-загадочная. Это она поглощает пестроту, шумность дня, выводит душу ночную, освобождая те великие меланхолии, которыми Рим полон. В сумерках грандиозней, молчаливей Колизей; ярче блестят глаза одичалых кошек на Форуме Траяна; величественней шум фонтана Треви...”

Б. К. Зайцев. *Рим*. 1919. Собрание сочинений в 7 тт., Пг. — Берлин, 1923, т. 5, с. 101-102, 117-118.

В. ВЕЙДЛЕ

1950-е

414

“Когда из церкви в церковь исхаживаешь Рим, кажется, что нет в нем ничего, что не говорило бы, не взывало бы о смерти... Город мертвых. *La mort semble née à Rome* < Смерть, похоже, родилась в Риме — фр. >, сказал Шатобриан... Конечно, этим не исчерпывается Рим. Но первенствует здесь все же не деловой современный город и не столица новой Италии, а священное сосредоточие католического мира. Католический же город решающий свой облик получил не в те века, когда воздвигались первые базилики, и не в те, когда из камней форума строились родовые крепости и монастырские колокольни. Даже не Возрождение наиболее неизгладимую наложило печать на Рим, а те полтора века, что отделяют первые архитектурные опыты Микель-Анджело от последних построек Борромини и Бернини. Бесчисленные церкви и дворцы римского барокко, его фонтаны и сады способны оттеснить куда-то вдале не только все другое, что здесь создано в христианскую эпоху, но и форумы с Колизеем, и арку Тита, и Траянову колонну, и Пантеон. Изумительная эта архитектура, со всем, что с ней связано в прикладном искусстве, скульптуре, живописи, так воцарилась на семи холмах, что, кажется, легче предста-

вить себе Рим без славных его развалин, без мозаик его ранних церквей, чем без тритона на плацца Барберини, без Испанской лестницы, без купола Св. Петра и даже без слона, что несет на себе обелиск Минервы. Римское барокко — не только колыбель этого стиля вообще, но и одна из самых целостных, самодовлеющих, насыщенных жизнью художественных систем, какие знает история искусства; вся система эта проистекает, однако, из необыкновенно могущественного чувства смерти, подстерегающей, пронзающей, изнутри просвечивающей жизнь. Любовь к жизни этим не умалена; в некотором смысле, напротив, она доведена до исступления — отсюда и повышенная праздничность и щедрость замыслов и сосредоточенная телесность всякой формы, — но жизнь вся насквозь опьянена смертью, и именно такой любит ее любовь... Религия отчаяния и надежды, не уверенность, а страстная жажда воскресения во плоти создала эту трагически потрясенную архитектуру, это изнутри надтреснутое великолепие, этот в Риме рожденный строй искусства и самой жизни...”

В. В. Вейдле. *Месяц мертвых*. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952, с. 59–62.



ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ

418

Н. ГОГОЛЬ

1838

“И когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет. Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы — эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе.

Тот же чистый воздух, та же ясная даль. Тот же вечный купол, так величественно круглящийся в воздухе... Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы”.

Письмо М. П. Балабиной, апрель 1838 г.

На предыдущем развороте: Площадь Св. Петра в Риме
(фото конца XIX в.).

Ф. БУСЛАЕВ

1874

420

“Легко сказать! Я опять в Риме, через бесконечные 33 года, когда я, наконец, сделался тем, о чем я в молодости мечтал, гуляя по этим холмам, по этим узеньким улицам и широким, великолепным площадям с громадными фонтанами и бассейнами, сидючи на этом самом щебне вековых развалин Форума и Колизея, с Винкельманом и Тацитом или Горацием в руке, откуда я жаждал набраться сил и вдохновенья, чтобы со временем быть профессором и литератором. И вот я опять пришел в Рим; теми же молодыми мечтами пахнуло на меня с его красноречивых твердынь, и в ответ на них принес я зрелые результаты, деятельно прожив эти 33 года, для которых те мечты были вдохновением и руководящею нитью. Видите, что Рим мне не чужой город; это часть моей жизни, это та моя молодость, свежая и бодрая, когда запасешься силами на всю жизнь... Итак, приезд в Рим — это не путешествие, а возвращение в родные места, где каждая мелочь запечатлена воспоминаниями, где на самых камнях античной мостовой чувствуются следы тех животворных прогулок, которые вместе с лучшими радостями в жизни никогда не забываются... Точно будто мы воротились в Москву, или, еще лучше, будто

я очутился на своей родине, в Пензенской губернии, в городе Керенске. Потому что, действительно, Рим — та же родина для моего нравственного существования, как Керенск — для физического”.

Ф. И. БУСЛАЕВ. *Мои воспоминания*. М., 1897, с. 376-377.

П. ЧАЙКОВСКИЙ

1890

422

“Меня до сих пор поражает страшная перемена во всем в Риме с тех пор, как мы тут жили. И подобно тому, как нам говорили старожилы в наше время, что Рим утратил много прелести со времен пап, подобно тому и я недоволен переменами. Рим все более и более утрачивает характер уютности и простоты, который составляет его главную прелесть. А все-таки интересного и чудесного бездна...”

Письмо М.И. Чайковскому, 15 апреля 1890 г.

М. ОСОРГИН

1923

423

“Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться было нельзя. Томился, и все же — как теперь, с отдаленья вижу — был счастлив. Это очень много — сказать самому про себя: был счастлив. А когда, потрепав-побросав, судьба опять увела меня за отечественные пределы и когда, после лет жизни тяжелой, душу повытрясшей, захотелось закусить бочку дегтя ложкой меда, — решил испробовать старого лекарства: среди серых олив — макарон итальянских на античном блюде. Вкус их остался в памяти, как вкус поцелуя у того, кто целовал — любя, как аромат духов на пожелтевших строчках в узком конверте. Макароны-поцелуи-духи... такие несхожие образы, а понимающий поймет: нас единомышленников, италофилов, немало... Я прожил в Риме восемь лет; так долго подряд не жил нигде, кроме провинциального города, в котором родился и юношей жил — до университета. Казалось бы — здесь мой дом, — если есть у меня дом где-нибудь... Я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города и страны, как свой, не как чужестранец... Но по той светочувствительной пластинке, которая запечатлевала светотени Рима, по той тонкой мембране,

которая записывала оттенки его шумов, — жизнь иная, родная, нашенская была в студеную зиму березовым поленом. И уже невозможно вернуть прежнюю восприимчивость. Стали мы страшно мудрыми житейски и страшно неотзывчивыми на внешние впечатления. Рим такой ласковый, такой простосердечный в своем историческом величии. А мы так глубоко заглянули в будущее и увидали в нем такого зверя, что ласке уже не верим и над историей смеемся... И лишь сегодня в первый раз остановился в отеле — как чужой, любопытный, приезжий. Понял сразу: я действительно чужой, совсем посторонний и лишний здесь человек! В высоких переулках Людовизи, где также жил когда-то, одиноко и прекрасно, — теперь смутился и запутался. Ночью вышел к площадке на Тринита деи Монти, спустился к площади, к каменной затонувшей лодке; на эту лестницу я взбежал одним духом лишь десять — пятнадцать лет назад; сейчас меня утомил даже спуск. У “Араньо” сажусь за мой столик... Все лакеи — те же; их пощадила война. Но все поседели. Один подходит, улыбаясь, приветствует: точно вчера видел в последний раз. Пожалуй, это единственное, что порадовало по-настоящему: признание

и привет лакеев “Араньо”, знаменитого политического кафе, в котором я восемь лет подряд бывал ежедневно. Когда зажглись огни, из обычной норы под расписным потолком вылетела обычная летучая мышь и принялась кружить свои обычные круги. Так кружит и так будет кружить под потолком десятки лет... Но за завтрашний день Пантеона — поручусь ли я? Может быть, мальчишка, которому я дал сегодня два сольди, — завтра обратит Рим в новые руины?”

М.А. Осоргин. *Там, где был счастлив*. 1923.
Париж, 1928, с. 96–99.



В. ВЕЙДЛЕ

1960-е

428

“Сладко Рим узнавать, но слаще, пожалуй, его знать. Не раз я все это видел и за столиком этим сиживал не раз, и сейчас пойду в места, издавна мне знакомые. Неисчерпаем этот город. Не только тем, что всегда тут остается еще не виданное, но и тем, что увиденное всегда хочешь вновь увидеть и видишь с новой отрадой. Никогда я больше месяца подряд здесь не жил, но мне кажется, проживи я тут всю жизнь, пресыщения так бы и не узнал. Предвкушаю, расплачиваясь за мой кофе, темную громаду дворца Фарнезе, но, когда взгромоздится она передо мной, будет то, чего не было, — не было, хоть и было, — будет новое свиданье. Будет повторенье, о котором столь многие не знают, столь многих даже музыка не научила, что оно может быть не менее прекрасно, чем увиденное в первый раз. Да и нет повторений. Наши дни и часы неповторимы. Разве музыка не знает, что в каждом ее повторении новый шаг от начала к концу, новый шаг и новый смысл?”

В. В. Вейдле. *Рим*. Из бесед о городах Италии. Париж, 1967, с. 51.

На предыдущем развороте: Piazza Colonna.
В центре — колонна Антонина (фото конца XIX в.).

ФОРУМ

VERSUS

ПАЛАТИН

429

Б. ГРИФЦОВ

1910-е

“Форум... Этим именем, вызывающим привычные мысли об империи, ее мировой власти, ее неременной силе, не захочешь на первый взгляд назвать те куски камней среди зелени, в низине под Капитолием. Груда камней в беспорядке разбросана среди кустов и травы; кое-где между ними одинокие колонны, арки и расчищенные площадки. Теперь не реконструируешь ни одного храма, и даже не отделить на первый взгляд границы одной руины от другой. Но это поле, засеянное бесформенными кусками мрамора, прекрасно... Это чувство приближения к классическому, душевному равновесию, к чистей-

шим эстетическим формам, к явившимся вдруг с удивительной простотою судьбам человеческим — не будет случайным. Наоборот, все трудное, книжное изучение Форума будет просветлено тем же чувством. Когда из груды камней начинают выделяться планы отдельных построек и разрозненные архитектурные элементы связываются между собой, когда, наконец, поднимаешься до мысленной реконструкции зданий — весь этот процесс познавательный и творческий так радостен. Нет задачи более привлекательной и более благодарной, чем воссоздание из этого печального и прекраснейшего пейзажа форм прежнего Рима. Тогда примиришься и с современностью. Три эпохи в истории Форума: его постройка, его разрушение, его архитектурное открытие — равно значительны... Постепенное и насильственное его разрушение не менее, в сущности, красноречиво, чем его создание. Века варварства занимают значительно большую часть в истории человечества... И кто может утверждать с полной уверенностью, что этот эпизодический в сущности пафос к античности не погаснет опять в варварских волнах?.. Своей живописностью больше, чем развалинами, запоминается Палатинский холм, ко-

торый был застроен дворцами цезарей. Он еще не принял архитектурного вида, как Форум, и в его дикости есть что-то первоначальное. Природы в нем больше, чем истории. Естественнее представить себе архаические эпохи его жизни, когда пастушеский народ с этого холма начал историю Рима, и конечную, когда в XVI веке кардинал Александр Фарнезе, «племянник» Павла III, развел на нем прославленные Фарнезские сады. Прекрасные кипарисы, цветники до сих пор остаются на холме... Но всего удачнее для туриста попасть на Палатин, когда над Римом проносится вихрь, угрожая ливнем. От ливня найдется где укрыться, — в мрачных криптопортиках Калигулы. Зато величественнее становятся опустелые развалины под клубящимися с зловещей серьезностью тучами. Хаотическая тревога царит над холмом. Только кипарисы не теряют своей стройности, изгибаясь в борьбе с ветром. И может быть, естественнее тогда думать о доисторической, старинной природе холма, который раньше, чем стать средоточием первоначального Рима, был вулканом. Века великолепия, мраморных дворцов, цезаризма кажутся быстро мелькнувшим эпизодом. По своим развалинам Палатин много беднее и однообраз-



SENATVS
POPVLSQVE ROMANVS
DIVO TITO OPTIMO MESPASIANO
VESPASIANO AVGVSTO

нее Форума; разрушали его еще энергичнее, и не приходится ожидать от него того мраморного праздника. Но нигде, как на Палатине, не вспоминаются большие периоды исторические, самые общие различия культур... Огромные арки, которые раньше всего увидишь, взглянув на Палатин с юга, — только фундамент для возвышавшегося над ними дворца, в котором отразился новый, заключающий историю римской архитектуры вкус к грандиозному. Оставшиеся и на самом холме амфилады кирпичных арок, лишенные облицовки, обветрившие от времени, производят впечатление чего-то необузданного, дикого и независимого. Это впечатление дикости свойственно и запущенному стадию Домициана, и значительнейшей части всех палатинских развалин, кирпичных, несоединимых, с какой-то вулканической силою выброшенных из-под земли. Их хочется расцветить рассказами о праздниках и играх, но что делать, если и пестрые Светониевские рассказы неизменно завершаются страницами о насилиях и убийствах, становящихся настолько неизбежными, что вся природа спешит предвестить их? Молнии сверкают в течение восьми месяцев так неустанно, что Домициану остается

воскликнуть: «пусть разит, если хочет»; буря раскидывает костер, на котором сжигали астролога, предсказавшего кончину императору; мирясь с неизбежным, сам император говорит: «завтра луна будет обрызгана кровью». Хаотический период природной жизни и необузданная эпопея истории вспоминаются, как тревожное чувство, когда ветер несется над Палатином, над его сводами, над его прошлым... И все-таки, как всегда в Риме, исполненное тоскливых предчувствий впечатление не остается последним. В посещение Палатина входит остановка на южном бельведере, где когда-то была ложа Септимия, с которой он смотрел на зрелища Большого цирка, где теперь открывается печальный, прекрасный вид. Всего печальнее картина под самым Палатинским холмом: стены, трубы, цистерны газового завода пока еще занимают место цирка. Прежде огромный ипподром, на мраморных ступенях которого могло поместиться до 400 тысяч оживленного, шумного народу, открывал зрелище более любопытное. Шум толпы в дни состязаний несся — рассказывают — на несколько верст от Рима и вновь замирал в момент состязаний. Но дальше вид остался значительным и теперь. Обводя взглядом, про-

Б. ЗАЙЦЕВ

1919

ходишь линии Колизея, холмов Целия и Авентина, с их зеленью и церквами, ворот и башен и, наконец, купола Петра. Вдали в ясный после дождя день четко видны Сабинские горы, городки, лес, даже виллы на Альбанских горах. Весь уходишь в простор пейзажа, равного которому не найдешь нигде. Буря страстей, самолюбий, попыток дерзких или чудаческих кажется только эпизодом в открывающемся взгляду вековечном космосе”.

Б. А. Грифцов. *Рим*. 2-е изд.,
М., 1916, с. 29-30, 39, 62-63, 74-75.

“Форум — долина. Паладин — холм. На Форуме природа сдержанна, в духе картины, которую должна украсить. На Палатине буйна, разгульна; целые рощи покрывают его... Главное в Палатине связано с Цезарями, а главное Форума — память о республике. Рим крепкий, суховатый, закаленный; Рим земледельческий, разумный, упорный медленным трудом, победами и жертвами возрос в сложный организм. Из Италии шагнул в мир необъятный. Создал вельмож, рабов, хлебнул роскоши и яда Востока; довел донельзя разницу между князьями мира и отверженными; привил запутанные культы и религии Востока; бешено расцвел, показал невиданную мощь, великолепие и начал загнивать. Символом нового идолопоклонства явились Цезари, первые императоры Рима нового и последнего. Мы знаем их довольно. С ними пришло в Рим безумие, дух Азии, раньше неведомый. В них нет спокойной, выношенной культуры латинизма. Их жизнь, их быт и их жилища лишь с одного конца Рим. С другого — это Вавилон. Холм Паладинский — развалины их бытия. Весь Паладин — гигантская груда сумасбродств, оправдываемых временем, природой... Некогда центр и напряженнейшая точка города,

РИМСКАЯ КАМПАНИЯ

439

ныне Форум — мир, ясность, строгие линии. Если здесь были страсти, если с ростр гремели ораторы и толпа стекалась к телу Цезаря, выставленному в храме его имени, то теперь Форум не будит памяти о бурях и насилиях. Все это отошло. Образ теперешнего Форума — чистый образ Античности. Форум дневное в Риме, не вечернее и не ночное. Культура строгая и четкая запечатлена в нем. Время одело его тонкой поэзией... Палатин вечернее в Риме, даже ночное. В его рощах, кипарисах, лужайках, дворцах, стадиях, криптопортиках есть величие сумрачное, есть грандиоз, но не из светлых. Впечатление его велико, ибо очень уж он полон, пышен, яркок. Все, что говорит он, сказано словами сильными. Но неулегшиеся страсти, отзвуки преступлений, крови живут еще на нем; и тени императоров его не кинули...”

Б. К. Зайцев. Рим. 1919. Собрание сочинений в 7 тт.
Пг. — Берлин, 1923, т. 5, с. 89–94.

А. ГЕРЦЕН

1847

“Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимание сосредоточивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырезаются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее. Такова самая *Camagna di Roma*. Сначала она поражает пустынным видом, отсутствием обделанных полей, отсутствием лесов, все бедно, угрюмо, будто вовсе не в средоточии Италии, такие пустыри найдутся, кажется, и на берегах Истры, но мало-помалу человек знакомится с этой вечной пустыней, с этой дикой рамой Рима. Ее



П. МУРАТОВ

1911-1912

безмолвие, ее опаловая даль, синие горы на горизонте — становятся все роднее... Там медленно двигается осел, постукивая бубенчиками, черноволосый пастух, с фартуком из бараньей кожи, сидит пригорюнившись и смотрит — женщина несет какой-нибудь овощ, — в ярком наряде и с белым сложенным платком на голове, она останавливается отдохнуть, грациозно поддерживая свою ношу на голове, и смотрит вдаль, и черные глаза ее выражают такую тоску, такую задумчивость, о которой она и не подозревает, — и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на бесконечное поле и горы, на пропадающую в неопределенной дали зубчатую линию акведуков, идущую целые мили, на пастуха и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, *Camagna* имеет одну веселую минуту — это захождение солнца: тут она облита ярким светом, который меняется каждые две-три минуты, и вдруг поднимается роса, пурпур сменяется ночью, и даль исчезла, — ничего не видать, кроме теперь только заметного огонька пастухов и двух-трех ближних развалин”.

А. И. ГЕРЦЕН. *Письма из Франции и Италии* (1847)
Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 82-83.

“Окрестности Рима — римская Кампанья — больше, чем что-либо другое, отличают Рим от всех городов. Образ Кампаньи соединен с образом Рима неразрывно. Она первая открывает глаза путешественнику после начальных дней разочарования. Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии и даже всей современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой. Путешественник прежних времен тратил целый день, чтобы проехать Кампанью; теперь поезд пробегает то же пространство в два часа. Но в этом пока вся разница. И теперь, как и тогда, за эти два часа, как за тот день, приближающийся к Риму путешественник расстается с одним миром и находит другой. Вечность Рима не вымысел — его окружает страна, над которой время остановило свой полет и сложило крылья. Исторический день здесь никогда не наступал, здесь всегда безжит рассвет нашего бытия. Кампанья не поддается изменениям, не подчиняется завоеваниям цивилиза-

ции. От самых ворот города начинается иногда необработанное, незаселенное, дикое поле... Все обыденное, все временное здесь непременно погибает. Стада дичают, поля тонут в сорных травах, стены пригородных вилл кажутся стенами кладбищ, остерии через немного лет принимают вид развалин, и плющ убирает их, как заброшенные руины. Рельсовые пути внушают только чувство бесконечной удаленности, и самые недавние дела человека приобретают здесь раннюю и таинственную дряхлость... Невольно хочется верить, что Кампанья в самом деле заколдованное, заповедное место. Над ней произнесено заклятие, в силу которого она уединяет и хранит Рим... Всякое деление времени мало чувствуется в Кампанье. Она внушает совсем особенную историческую перспективу. Даже события и творения вчерашнего дня отодвигаются здесь на бесконечное расстояние. Феодальные башни и римские акведуки здесь одинаково легендарны. Одно не сменяется другим, но одинаково с ним тонет в легендарных и сказочных временах. Размышление минует здесь все звенья исторической цепи и охотнее всего обращается к ее началу, к началу Рима. Еще и теперь на вечерней дороге можно встре-

тить волчицу, которая скрывается в пещеру, где ждут ее голодные детеныши. Капли, падающие с потолка в гроте Эгерии, еще и теперь слышны, как лепет нимфы, который умел понимать когда-то Нума Помпилий. Вид всадников, пересекающих одетые утренним туманом пространства, заставляет подумать о божественных Диоскурах, спешащих в Рим с вестью о победе. Блестящая полоса моря на горизонте вызывает видение корабельщиков Энеиды. Кампанья погружена в стихию прошлого, но истории здесь нет. Историю создают труд человека, правильное общество, закон, честолюбие, богатство. Кампанья никогда не знала ничего этого... Большинство гостей Рима видит Кампанью на Аппиевой дороге. В ясные зимние вечера, когда солнце клонится к закату и красным отблеском освещены гробницы, пинии и развалины акведуков, здесь медленно катятся один за другим экипажи. Это любимая прогулка иностранцев в Риме, того племени живущих легко и видящих много людей, которое веками осело в старинных и уютных отелях вокруг Испанской лестницы и пьядцы Барберини. Дорога еще лучше, когда на ней нет проезжих. Но и в этой вечерней прогулке нет ничего, что могло бы на-

РИМСКИЕ КАРНАВАЛЫ

447

рушить прекрасный покой развалин. Тихое движение экипажей и невольное раздумье, выраженное на лицах проезжих, придают всему важность и значительность. Женщины, встретившиеся здесь на миг среди могил и в красном свете погасающего дня, внушают мысль о каком-то длинном романе с тонкими чувствами, долгими разлуками и несбывшимся счастьем”.

П. П. Муратов. *Римская Кампанья* (1911–1912)
Образы Италии. М., 1994, с. 277–281.

Н. ГОГОЛЬ

1838

“Теперь время карнавала: Рим гуляет напрапало. Удивительное явление в Италии карнавал, а особенно в Риме: все, что ни есть, все на улице, все в масках. У которого же нет никакой возможности нарядиться, тот выворотит тулуп или вымажет рожу сажею. Целые деревья и цветники ездят по улицам, часто протащится телега вся в листьях и гирляндах, колеса убраны листьями и ветвями и, обращаясь, производят удивительный эффект, а в повозке сидит поезд совершенно во вкусе древних Церериных празднеств... На Корсо совершенный снег от бросаемой муки. Я слышал о конфетти, никак не думал, чтобы это было так хорошо. Вообрази, что ты можешь высыпать в

448

лицо самой хорошенькой целый мешок муки, хоть будь это Боргези, и она не рассердится, а оплатит тебе тем же. Франты и джентльмены издерживаются по несколько сот скуд на одну муку. Экипажи все решительно маскированы. Слуги, кучера — все в маскарадном платье. В других местах один только народ кутит и маскируется. Здесь все мешается вместе. Вольность удивительная, от которой бы ты, верно, пришел в восторг. Можешь говорить и давать цветы решительно какой угодно. Даже можешь забраться в коляску и усесться между ними. Коляски все едут шагом. И оттого часто забияки, забравшись на балкон, имеют возможность целые четверть часа вальть горстями и ведрами мучные шарики на сидящих в колясках, большею частию на дам, которым и больно и смешно, и они только что закрывают очень мило рукою глаза и вытирают лицо. Для интриг время удивительно счастливое... Все красавицы Рима всплыли теперь наверх, их такое теперь множество, и откуда они взялись, один бог знает. Я их никогда не встречал доселе; все незнакомые”.

Письмо А. С. Данилевскому, 2 февраля 1838 г.

449

“Я не знаю, писал ли я вам что-нибудь о карнавале, то, что называется у нас масленицею. Это очень замечательное явление. Вообразите, что в продолжение всей недели все ходят и ездят замаскированные по улицам во всех костюмах и масках. Иной одет адвокатом с носом величиною через всю улицу, другой турком, третий лягушкой, паяцем и чем ни попало. Кучера даже на козлах одеты женщинами в чепчиках. Всякой старается одеться во что может, кому не во что, тот просто выпачкает себе рожу, а мальчишки выворотят свои куртки и изодранные плащи. У каждого в руках по целому мешку шариков, сделанных из муки. Этими шариками они бросают друг в друга и засыпают совершенно всего мукою. Все смеются и хохочут. Иногда вместо муки бросают конфеты. В последний вечер, который называется *Mosccolotti*, гасят масленицу, т.е. везде, во всех окнах, показываются огни. Все, которые не едут в колясках (а в колясках сидит человек по 12), все держат на длинных шестах огни, а другие бегут за ними тоже с шестами, на которых навязаны платки, и этими платками они стараются погасить свечи. Если им удастся это сделать, тогда они смеются от всей души. Во все продолжение этого все сливается



П. ЧАЙКОВСКИЙ

1880

в один гул; все до одного кричат: Senza moccolo, senza moccolo! Иные прибавляют: O che oscurita! То есть: какая темнота! Дамы между тем из балконов домов протягивают тоже длинные шесты с огнями и зажигают те, у которых погасли. Это продолжается до 11 часов ночи, и таким образом оканчивается карнавал...”

Письмо А. В. и Е. В. Гоголь, 28 апреля 1838 г.

На предыдущем развороте: Римский карнавал.
Старт скачек на Корсо.

“Карнавал в полном разгаре. Мне совсем не нравится это бешенство, но я все-таки рад, что видел его. У нас есть балкон на Corso, с которого все чудесно видно. Но ты не можешь себе представить, до чего доходит это беснование. По Corso идти — чистое мучение. Отовсюду тебе в лицо и голову бросают массу мучных шариков, из коих некоторые причиняют сильную боль, но боже сохрани рассердиться — тогда забросают просто до смерти. Я пришел сегодня оттуда весь в муке, как лабазник. Но что удивительно, так это погода — совершенное лето; смешно и подумать, что я еще увижу в Петербурге снег и санки”.

453

Письмо А. И. Чайковскому, 3 февраля 1880 г.

“Карнавал кончился, и я этому несказанно рад. В последний день сумасшествие и беснование толпы превосходило все, что можно себе представить. На меня все это производило впечатление в высшей степени раздражающее и утомляющее. Но зато, что за погода все время стояла чудная!”

Письмо А. И. Чайковскому, 12 февраля 1880 г.

С. ФЛЕРОВ

1882

454

“Со своей стороны, городское управление Рима объявило во всеобщее сведение различные постановления и правила, относящиеся до карнавала. Confetti позволяется бросать только в продолжение трех первых дней... Это маленькие белые шарики, величиной с горошину, шарики, сделанные из смеси муки и извести. Они продаются на фунты, по 2 копейки за фунт. С самого утра на всех площадях, находящихся на Корсо, поместились женщины с огромными корзинами этих confetti. Вы купили несколько фунтов. Куда положите вы их? Для этого нужно иметь особый мешок, который надевается через плечо, как охотничья сумка. Как будете вы бросать confetti на балконы? Для этого нужно иметь особый снаряд, род жестяной воронки, прикрепленный к палке; посредством такого снаряда confetti с удобством долетают до окон и балконов второго этажа. Что делать, чтобы предохранить лицо от залпов, которые преобильно действуют на кожу? Для этого нужно запастись особою проволочною сеткой. Она или прямо надевается на лицо, или же только держится перед лицом при помощи рукоятки и в этом случае как две капли воды похожа на наши “совки” для муки. Вы видите, что это целая система. Чем далее

подвигается время к полудню — гулянье по Корсо начинается в 2 часа, — тем чаще встречаются продавцы confetti, продавцы метательных снарядов и проволочных сеток. Во время самого гулянья целые сотни их движутся по улице, выкрикивая свой товар... Вперемежку с экипажами движутся маскарадные колесницы. Вот на огромной повозке, среди зелени и цветов, возвышается громадных размеров ящик, изображающий фотографический снаряд; остальная часть повозки наполнена масками; это «странствующая фотография», а маски сидят в salon d'attente <зале ожидания — фр.>. Другая колесница имеет несколько этажей, расположенных амфитеатром, один над другим; на ступенях амфитеатра сидят мужчины в черных фраках, высоких шляпах и белых галстуках; каждый из них держит в руке портфель с какой-либо надписью: морские дела, внутренние дела и т.д., на каждом одета характерная маска, не «харя», а более или менее человеческое, хотя и несколько карикатурное лицо; в толпе слышится: «министерство, министерство», ecco il ministero! Вот повозка, изображающая странствующий балаган; вот среди улицы движется процессия со знаменем: fine del mondo <конец света —

455

итал. >. Впереди несут земной шар; за ним несколько человек тащат колоссальную зрительную трубу; по бокам бегут pulcinelli, также со зрительными трубами: все наблюдают комету, которая должна будет положить конец свету. В римской колеснице медленно движется по Корсо «римский триумфатор»: вместо лошадей колесницы тащат четыре человека с картонными лошадиными головами на плечах. Белые, розовые, полосатые, пестрые маски снуют в толпе, толкаются, пищат, мелькают цветными пятнами, появляются, исчезают... На Корсо было громадное количество народа. В отеле нам объявили с утра, что по случаю тоссоли и процессии с фонарями готовится нечто особенное... Бег лошадей, corso dei barbergi кончился бедой. Два человека убиты; одиннадцать тяжело ранены и отправлены в больницы; легкие ушибы и испуг, разумеется, считаются ни во что. Решительно, этот бег лошадей среди густой и неосторожной толпы — преопасная вещь. Не менее опасная игрушка тоссоли. Это тончайшие восковые свечи, вернее — восковые фитили, ибо они горят на воздухе почти так же скоро, как бумага. Едва успели пробежать лошади, как на улице послышались крики: ecco i тоссоли, ecco i тоссоли! И появилось

такое же множество продавцов свеч, как прежде букетов... На улице между тем стемнело. На балконах начали зажигать тоссоли. Меня научили, как это делать. Нужно взять две свечи и переплести их между собою, потому что одна сейчас же может потухнуть. Роздали тоссоли детям, взяли их сами в руки, зажгли и... Нет, вы не можете представить, что началось в то же мгновение. Pulcinelli лезли к нам в ложу, дули на тоссоли и хлопали по ним своими войлочными шапками, хлопали как ни попало по тоссоли и по нам самим. Проходящие всовывали в нашу ложу какие-то веники на палках и также хлопали ими по чем попало; кто-то махнул через барьер целым плащом, который сшиб с нас шляпы и на мгновение прикрыл собою тоссоли и нас; кто-то кинул пучок травы и попал прямо в лицо моему знакомому итальянцу... Так продолжается с полчаса. Наконец все начинают приходить к убеждению, что на улице нет никакой возможности удержать зажженным свой тоссоло, точно так же, как нельзя никаким образом погасить тоссоли на балконах и в окнах вторых этажей. Тоссоли гасят, и только какой-нибудь десяток уличных мальчишек еще бегают с крошечными огарочками в руках, уже исключитель-



*Piazza del
Giorgio in Lucerna*

460

но для собственного удовольствия. Говорят, что прежде пускали на улице разные фейерверочные штуки и кидали с балконов и на балконы зажженные пучки бумаги; теперь это строго запрещено, точно так же как запрещено носить *mossoli*, прикрепленными к палкам. При необыкновенной неосторожности итальянцев эта игра огнем далеко не безопасна, однако, и в теперешнем виде. Иностранцы, особенно женщины, сделают всего лучше, если будут смотреть на римский карнавал из окон второго этажа; я говорю это по опыту... Карнавал закончился прелестною процессией масок с разноцветными фонарями. Впереди всех двигалась по улице высочайшая пирамида, освещенная внутри... Затем следовали сотни самых разнообразных фонарей, говоря точнее — сотни самых разнообразных фигур, сделанных из разноцветной бумаги и освещенных изнутри. Были кошки, собаки, слоны, земляника, ветчина, бутылки, апельсины, арбузы, дома, чего только тут не было! Двигался целый стол; за столом сидел великан и беспрестанно открывал огромную пасть, в которую каким-то остроумными механизмом со стола летели кушанья в форме освещенных фонарей. За великаном шли по улице громадные

часы; за ними катилось колесо фортуны; потом ехала огромная повозка, изображавшая кухню с целым десятком поваров в полной деятельности; за кухней следовал «крах», огромная позолоченная фигура, наполовину женщина, наполовину хищная птица; вокруг этой фигуры висели сети со множеством запутавшихся в них маленьких птиц. Целая серия фонарей изображала ловлю рыбы в ночное время: вокруг фонаря, имевшего вид лунного серпа, прыгали рыбы, лягушки, всякая водяная тварь. Процессия тянулась около часа и закончилась колоссальною колесницей, на которой восседала фигура карнавала. Перед этою фигурой горели на треножниках бенгальские огни и благоухания, наполнившие всю улицу запахом ладана. Фигура сидела на золотом кресле и была в парчовом одеянии; в головах ее стоял комический доктор и хлопотал около умирающего «карнавала»

С. ВАСИЛЬЕВ <С. В. Флеров>. *Картинки Италии*.
Письма из Рима и Флоренции (1882). М., 1894, с. 33-88.

На предыдущем развороте: Римский карнавал.
Зажигание свечей “*mossoli*”.

М. ОСОРГИН

1910-е

462

“Из года в год 17 заграничного января на улицах расклеивается официальное объявление, написанное весьма архаическим слогом, где жители уведомляются о разрешении носить на улице маски и маскарадные костюмы. Этим знаменуется начало маскарадных дней, отошедших в действительности в область истории. Слабый-слабый намек на давнее уличное карнавальное оживление дают лишь последние дни празднеств, когда на Корсо экономно тратится публикой один франк на серпантин, конфетти и крашенные бобы; но и это желанное оживление длится всего три дня. Умерли Арлекины, Стентерелли, Ругантины и Пульчинелли — умерли, и ничем их не воскресить... По главной улице Рима, по Корсо Умберто, — да и то не по всей, а лишь по оживленнейшей его части, — движется ряд извозчичьих экипажей и автомобилей. Сидят в них не маски, а обыкновенные граждане и гражданки средних классов, и экипажи, конечно, ничем не украшены. Самое большее, если кто-нибудь из веселящихся или считающих своим долгом веселиться англичан водрузит впереди автомобиля размазанного розового амура, трубящего в рог. Масок же всего несколько десятков; большинство — дети и под-

ростки в костюмах Пульчинелли, с лицом, намазанным мукой или известкой. Иногда, впрочем, некая смелая женщина решится проехать в крытом фаэтоне, выставив напоказ ногу в розовом чулке или зеленом башмаке. Но это — уже явление исключительное, вызывающее двусмысленные замечания... Да, карнавал печальный, окончательно выродившийся. И, однако, нет недостатка в веселье, только оно выражается не в цветочных боях — ни одного цветка нет! — и не в маскарадных интригах, о которых мы слышим со стороны и читаем в романах, а в толкотне, шутках, иногда — в драке, но не цветами и конфетти, а попросту кулаками. Немногочисленные цветные бумажки приберегаются для немногочисленных проезжающих и проходящих женщин, которые отмахиваются с притворным видом неудовольствия, но с завистью смотрят на тех, у кого на шляпе и в волосах застряло больше бумажек. Последнее, что осталось в Риме от прошедших времен, — это так называемые *tarantelle romanesche* — телеги с разряженными певцами куплетов на диалекте. Но и их немного. Лет пять назад прекратил свою деятельность знаменитый в своем роде карнавальный куплетист Компаретто, забавлявший

463

РИМ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

467

Рим двадцать лет подряд. Он был всегда одет испанским маркизом, а на руки, на место колец, надевал стеклянные дверные ручки; это был специалист по шаржу и любимец римской публики. Нынешние певцы — лишь слабые его подражатели”.

М. А. Осоргин. *Очерки современной Италии*.
М., 1913, с. 255-257.

С. ФЛЕРОВ

1882

“Рим нельзя ни украшать, ни распространять, ни «модернизировать»; можно только проводить через улицы проволоки телеграфов и телефонов, мести и поливать улицы; главная задача Рима, задача, в которой заинтересована вся Европа и весь исторический мир, главная задача его состоит в том, чтоб оберегать и сохранять свои развалины, а совсем не в том, чтобы создавать что-нибудь новое... В Риме центр политической жизни Италии. Быть может, это совершенно субъективное ощущение, но я должен сознаться вам, что работа центральной политической машины постоянно портила мое ощу-

На предыдущем развороте: Сцена римского карнавала.

468

щение Рима. Машина эта производит слишком много шума, дает слишком много дыма и копоти. Все эти клерикалы и антиклерикалы, все эти депутаты и журналисты, все эти партии и кружки занимают в общественной жизни Рима более места, нежели сколько соответствует (на взгляд иностранца) их действительному значению... Вы чувствуете, что рядом со спокойною народною жизнью, имеющей целью себя саму, существует еще другая жизнь с искусственно повышенной температурой, возводящую личные столкновения, пререкания и сплетни на степень вопросов и событий, крикливо и назойливо зазывающая всех в свою лавочку, подчеркивающая противоречия, доводящая эти противоречия до непримиримых контрастов, вместо того чтобы спокойно устранить и разрешить их... Ни в одном городе так не поражают вас контрасты, ни в одном городе мелочный шум личных и кружковских ссор, интриг, пререканий не кажется вам до такой степени гулом ударов по пустой бочке, как именно в Риме; вся эта шаблонная, фабричная парламентская работа, весь этот журнальный крик и шум, вся эта погоня за новейшими цветками европейской культуры, за новейшими французскими опе-

ретками, зонтиками из Парижа, портсигарами из Вены, гигиеническою бумагою “для домашнего употребления” из Лондона — все это кажется вам среди великого Рима как-то особенно мелким, искусственным, пришлым, неорганическим. Вы чувствуете себя действительно в Риме лишь когда вы уйдете от его жизни как столицы, от того искусственного шума, который Рим называет теперь своей действительною жизнью; вам нужно отыскивать Рим среди Рима, добираться до почвы через ряд случайных наносных слоев, угадывать лицо под гримасой”.

С. ВАСИЛЬЕВ <С. В. Флеров>. *Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции* (1882). М., 1894, с. 318, 321-323.

П. МУРАТОВ

1911-1912

470

“Рим часто кажется на первых порах негостеприимным. Путешественник, прибывающий сюда из тихих и благородно ненынешних городов Тосканы и Умбрии, невольно испытывает сжатие сердца, когда впервые выходит на обширную площадь перед станцией железной дороги, окруженную современными домами и наполненную деловым шумом большого европейского города. Открывающаяся отсюда перспектива банальной Via Nazionale мало утешительна. Вся эта часть города, древний Виминал и склоны Эсквилина и Квиринала, занята новыми кварталами, построенными в семидесятых и восьмидесятых годах, ради желания сделать Рим похожим на другие европейские столицы. Еще сорок лет назад здесь тянулись только огороды и виноградники. Выросшие на их месте новые улицы холодны, однообразны, уставлены тяжелыми и безвкусными домами. Не менее удручающее впечатление производят современные кварталы, выросшие еще более недавно за некоторыми городскими воротами, например за Порта Пиа и Порта Салариа. Великолепные луга когда-то тянулись по правому берегу Тибра от замка Св. Ангела и стен Ватикана до самого Понте Молле.

Теперь там образовался целый городок, состоящий из прямых широких улиц и огромных кубических домов. По счастью, этот квартал, Прати дель Каstellо, остался народным, и народная жизнь в два десятилетия успела несколько согреть его механическую правильность и деловитость. Легче примириться даже с бедностью и нищетой двух других новых народных кварталов, у Тестацчо и около Латерана, чем с безличной нарядностью таких улиц, какие проложены на месте уничтоженной виллы Людовизи, где на пепелище садов Ле Нотра свило свое неуютное гнездо правящее сословие объединенной Италии. Дурное новое резко и неприятно поражает приезжего в первое время. Но очень скоро его как-то мало начинаешь замечать, и потом оно даже почти вовсе исчезает из представлений о Риме. Люди, живущие здесь долго и хорошо знающие Рим, всегда бывают несколько удивлены жалобами кратковременных гостей на бросающиеся в глаза современные дома и улицы. Они верят в таинственную способность этого города: все поглощать, все делать своим, сглаживать острые углы и резкие границы различных культур, соединять на пространстве нескольких саженей дела далеких друг от друга эпох и

471

Б. ГРИФЦОВ

1910-е

противоположных верований. Никакие новые здания, даже такие, как только что оконченный монумент Виктора Эммануила или на редкость уродливая еврейская синагога на берегу Тибра, не в силах нанести Риму непоправимого ущерба. Колоссальные сооружения, вроде дворца Юстиции, здесь удивительно легко нисходят на степень незначительной подробности. Сильно помогает этому сама бесхарактерность современного строительства. Фонтан Бернини все еще торжествует над берлинской перспективой Via del Tritone. Торговая суета улицы Витторио Эммануэле легко забывается перед фасадами палаццо Массими и Сант Андреа делла Валле. Современная толпа на главном Корсо не мешает его великолепной строгости. И надо быть педантом, чтобы отчетливо выделить новое из окружающего и преобразующего его старого в традиционном квартале иностранцев около Пьяцца ди Спанья”.

П. П. МУРАТОВ. *Чувство Рима* (1911–1912)
Образы Италии. М., 1994, с. 211–212.

“У тех писателей, кому удалось жить в Риме до того, как он стал столицей объединенной Италии, часто встретишь чувство глубокого огорчения от его новейшей культуры. Грегоровиус, автор многотомной и классической «Истории Рима в средние века», проживший здесь десятилетия, не мог приехать сюда, когда провели железную дорогу. Новая механическая культура казалась ему несовместимой с культом старины, которой он отдал свою жизнь. Гастон Буассье начинает свои «Археологические прогулки» — спокойную ученую книгу — лирическими страницами о том, как невыносимы «новые кварталы, беда которых в том, что они похожи на все новые кварталы в мире». Грегоровиус и Буассье — раньше всего социальные историки; ни того, ни другого нельзя заподозрить в отсутствии демократичности, но сочувствие новому положению Рима не могло изгнать у них чувства личного оскорбления, которое вызывается каждой переменной в картинах привычного, спокойного Рима. По всей Италии будет сопровождать путешественника это противоречие различных культур. Но нигде оно не сильно так, как в Риме. И с каждым днем паломничество в Рим становится все труднее. Что сказал бы Грегоровиус

ровиус, если бы увидел памятник Виктору Эммануилу! Назойливый и все же беспомощный европеизм делает трудным подход к тому чувству города, которое обычно так непосредственно дается в Италии... В Великое спокойствие былого Рима его современная жизнь вносит начала чуждые. Надо сознаться, что, как ни строился бы Рим теперь, новые постройки не в силах был бы принять человек, отдавший его прошлому, готовый ревниво заботиться о том, чтобы прошлое сохранилось здесь во всей своей неприкосновенности. Этой ревнивой любви к Риму паломника суждено каждый год испытывать огорчения. После 1871 года Рим стал усиленно строиться, и не только ревнивая любовь к прошлому заставляет признать неудачным и заносчивым его новое строительство. Логически вполне понятен призыв сделать из Италии не музей и гостиницу для иностранцев, а самостоятельное, сильное государство, но что делать, если для беспристрастного взгляда проявления этой новой силы остаются только заносчивыми, только неудачными... Когда заходит речь о том, чтобы по площади Навона проложить широкую улицу, которая открывала бы вид на Дворец Правосудия, о том, чтобы расширить

площадь Треви, фонтан которой производит сильное впечатление именно благодаря контрасту ограничивающих его стен, — все эти проекты порождены не только новыми потребностями, но и новыми вкусами...”

Б. А. Грифцов. *Рим*. 2-е изд. М., 1916, с. 27-28, 250-251.

И. АКСАКОВ

1857

476

“И сильно займет вас Рим, займет вас и противоречие древней жизни и современной, и тайна грядущего, которая носится над древними и будущими развалинами, и гармония древнего мира, и страшный диссонанс, внесенный (и благодарение Богу) христианством, и попытки новой гармонии в области искусства, и тщета попыток, и безобразие современности с утратою всяких верований, и вся страшная дисгармония, все раздирающие душу аккорды современной жизни древнего человечества, и над всем этим гармония природы, роскошная синь неба, синь моря, синь гор, изумрудная зелень деревьев, и все богатство красок, чарующее вас в цветах, устилающих поля, растущих на воле, венчающих (буквально) каменные развалины!.. Мне нравится эта бесцеремонность обращения итальянцев с древностями. Арка, которую баварский король поставил бы под стеклом, на образец которой он выстроил бы арки во всех концах Мюнхена, и сам с глупым благоговением, надев хламиду и прикинувшись древним антиком, прогуливался бы под ней, — эта арка у итальянца как-то дружится с его беспечной артистической жизнью; если бы из арки строили казарму — другое дело, но к ней привязывает

корову, подле нее — раскинувшись — спит он в живописном костюме или вешает даже белье для просушки. Тут есть наивность обращения, по крайней мере, менее оскорбляющая вас, нежели благоговение новейшего немецкого афинянина”.

Письмо родным 4 июня 1857 г.

М. ОСОРГИН

1913

478

“Исчезает, покрываясь наслоениями современности, все прошлое Вечного Города... Новая жизнь идет приступом на сонную и ленивую красоту очаровательной страны, ничего не жалея, раскидывая камни и плиты прошлого, тесно окружая решеткой его памятники, заслоняя их наглыми рекламами отелей, ваксы, модных магазинов, кинематографа. Античное, бывшее достоянием всех, спрятано в глухие стены музеев, сама природа убегает от жилых центров в горы, ближе к небу, которое нельзя перекрасить в модный цвет, ближе к морю, волны которого не строятся по ранжиру... Не нужно чрезмерно сожалеть о прошлом; оно было слишком великим, чтобы нуждаться в нашей защите. Роль его не окончена, и, как Анцианская Девочка, оно и впоследствии может разрушить стены своего склепа и вновь явиться миру. Мы должны радоваться новой жизни, которая пробивает себе дорогу, какой бы серой и бесцветной на фоне прошлых веков она ни казалась нам, ее современникам. Мы слишком пристрастны; мы рискуем проглядеть в ней грандиозное, если не в сфере искусства, то в области зодчества социального. Жизнь многогранна, и грани ее несоразмерны. Слишком долго Италия была для нас

только краем мраморных чудес, макарон и ладзарони; она не хочет вечно служить лишь местом прогулок европейских буржуа, покупающих ее красоту на золото европейской цивилизации. Италия хочет быть европейской державой — пусть она будет ею... Но если этим своим прогрессом она мешает английскому туристу излечить приобретенный им на родине сплин, — можно ли винить за это молодой народ? И если вы, читатель, приехав сюда, разочаруетесь в своих преувеличенных поэтических надеждах при виде первой фабричной трубы, коптящей лазурное небо, — вините лишь себя самого! Италию мало видеть; ее нужно знать. И тот, кто понял и полюбил ее и ее народ, никогда не обманется цветистой и модной вывеской. Для него, как настоящего друга, а не случайного покупателя настроений, Италия и теперь, и позже, и всегда найдет способ возродить свое не подчиненное законам смерти обаяние. Легкое дуновение звездной ночи, слабый звук мандолины, всплеск прибора, — и само собою вернется то странное, драгоценное чувство к чужой стране, которому не подыщешь ни названия, ни объяснения. Скажем — чувство влюбленности; в отношении ее это чувство не бывает безответным

479



M·AGRIPPA·L·COSTERTIVM·FECIT

PIZZERIA
MAGLIOLINI

и не может быть смешным. Приветов и ласки у нее хватит на всех, и она — единственная из доступных, которая не может прискучить. А любимой — прощается все”.

М. А. Осоргин. *Очерки современной Италии*. М., 1913, с. 259–260.)

1942

“Я не Бедекер, чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с тибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая

На предыдущем развороте: Piazza della Rotonda и Пантеон
(фото начала XX в.).

приз за красоту, — за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, — тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры — я его называю по-своему, — и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть, «o gioventu, primavera della vita!» <О юность, весна жизни!>... Но времена поэзии прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машиной, и мальчик, одетый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: «il purgatorio, avanti chi scende!» <Чистилище! Кто спускается, вперед!> Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов... Я прожил восемь лет в Вечном горо-

В. ВЕЙДЛЕ

1950-е

де, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, нарощей на остатки храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света — за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Коллизей и запели хором «Вниз по матушке, по Волге» — так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера, — и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры”.

М. А. Осоргин. *Времена. Автобиографическое повествование* (1942). Екатеринбург, 1992, с. 552-555.

“Конечно, Италия не просто хранилище достопримечательностей, не музей, и жизнь ее — не театральное представление. Дело и не в этом, а в том, что ее прошлое слилось с ней самой, с узором ее берегов, с течением рек, с волнистой линией гор, с кипарисами кладбищ и пиниями приморских рощ, с ее виноградниками, деревенскими дорогами, со старыми ее городами, — так слилось, как только с телом сливается душа; нельзя разделить их: потерей души грозит отречение от памяти... Рим создавался медленной работой веков, а не произволом, хотя бы и гениального строителя. Все в нем кажется выросшим из самих его недр и сросшимся одно с другим в неразрываемое глубокое единство. Каждый удар кирки в старых его кварталах, даже самый осторожный и разумный, словно проникает в живую ткань и пронзает ее жестокой болью. Совсем без кирки, конечно, не обойтись — без нее никогда и не обходились, — но есть различие в том, чтобы к ней прибегать в случае насущей необходимости или в силу какого-нибудь общего плана. Замысел такого рода способен предотвратить неприятные случайности и избежать вопиющих разрушений, но самый его рассудочный холодок уже противоречит

органическому росту и жизненному теплу запечатленной в городском строительстве истории. Проветренные окрестности театра Марцелла, восстановленная вереница форумов, широкая, прямая улица, которой соединены Венецианская площадь и Колизей, — все это прекрасно задумано и выполнено с большим умением, но ради всего этого пришлось уничтожить много узких улиц и ветхих домов, быть может не столь уж и замечательных, но все же неотделимых от славы, от старины, так близко прильнувших, казалось, чтобы слиться с ним навсегда, — к самому сердцу Рима... Не будем несправедливы к обновлению столицы, долженствующему знаменовать обновление страны. Из того, что совершилось, многое должно было совершиться, и мера почти всюду была соблюдена... Если в чем-нибудь нужно упрекнуть нынешних хозяев города и страны, так это больше всего в том, что не захотели они порвать с... манией архитектурного величия. Не только не решились они отдать на слом позорящий Рим Национальный Памятник — его освещают прожекторами по вечерам, — но и те памятники и здания, что воздвигаются сейчас, пусть в более деловитом и потому более сносном стиле, все еще несвободны

от того же духа демагогической огромности. Оправдано все то, что отвечает действительной потребности страны, но не то, что внушено тщетой соревнования и суетной заботой о престиже. В наше время неуместно — потому что неизменно оказывается внутренне пустым — всякое в себе самом сосредоточенное великолепие. Что же до соперничества с собственным прошлым — вряд ли оно плодотворно: то, что было в Италии, того, чем и сейчас она так богата, все равно никому не перещеголять... По-прежнему несчетные купола мягко плывут над городом и собор открывает за рекой объятия Берниниевой колоннады. Не в сторону Остии и не по Фламиниевой, а по Аппиевой дороге надо уходить из Рима и возвращаться в Рим. Среди могил, среди полей она тянется ровная, прямая; обернитесь: исчезли века, и вы снова в той картине Лоррена, где колонны врастают в землю и мраморы поросли травой, где в летнем сумраке гаснет древний мир, — в картине, которую назвал неизвестно кто «Падением Римской империи»...

В. В. ВЕЙДЛЕ. *Вновь я посетил* // Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952, с. 29-35.)

ПРОЩАНИЕ С РИМОМ

488

С. УВАРОВ

1843

“Посетить Рим есть почетное воспоминание; оставить его без глубокого сожаления — дело невозможное. Хотя не покидаешь там никакой привязанности, хотя оттуда никакой не выносишь, сердце сжимается, когда снова проезжаешь Porta del Popolo для возвращения под свой далекий кров. В роковое мгновение расставания Рим весь предстает глазам вашим, как особа нежно любимая; вы простираете к нему руки, и он издали, кажется, бросает прощальный взгляд на иноземного странника, которого лелеял в стенах своих и осенял своею тенью”.

С.С. УВАРОВ. *Рим и Венеция в 1843-м году.*
Дерпт, 1846, с. 25–26.)

П. МУРАТОВ

1911-1912

489

“Так проходят дни, и вот наступает день разлуки с Римом... Чтобы осталась надежда еще раз увидеть Рим, надо проститься с ним по старинному обычаю путешественников — бросить монету в фонтан Треви и напиться оттуда воды. Никогда маленькая площадь Треви не кажется такой прекрасной и оживленной, как в этот последний вечер. Солнце уже садится; отряд карабинеров возвращается с музыкой из караула на Квиринале, и сопровождающая его толпа любопытных смешивается с толпой, выходящей после вечерней службы из церкви Санти Винченцо и Анастазо. Из ее открытых дверей пахнет ладаном, воском и цветами, в темной ее глубине видны горящие перед алтарем свечи. В последний раз взгляд обращается к ее элегантным тройным колоннам, каменным гирляндам и волютам барокко. Безмерно счастливым хочется назвать в эту минуту римский люд, заполняющий площадь, ибо ничто не мешает ему жить под этим небом Рима. Взор тонет в его вечерней синеве, которая кажется еще более глубокой рядом с пыляющим в рассеянном свете красным домом направо от фонтана. Только в Риме и Венеции встречаются дома, окрашенные так сильно и нежно. Вместе с наступаю-

М. ОСОРГИН

1923

щей темнотой толпа понемногу растекается по узким улицам, ведущим к Корсо или Квириналу... Мы спускаемся к бассейну; близкий отсюда гул каскадов кажется прощальным, и водяная пыль, оседающая на лице, вызывает легкую дрожь. Какие-то человеческие существа, расположившиеся в нишах ограды, копошатся там смутно; их голоса похожи на трубный и хриплый голос тритонов. Серебряная монета блестит на миг и исчезает под темной поверхностью. Зачерпнутая рукой из боковой струи вода успевает омочить губы, вкус ее свеж и сладок. Когда мы выходим на площадь, мне видно в желтом свете, льющемся из окон остерии, как печально твое лицо, милый друг, как даже воды Треви, сулящие скорое возвращение, не успокоили тоски от этой разлуки с Римом — тоски, которая будет преследовать всюду вдали от Рима”.

П. П. Муратов. *Чувство Рима* (1911-1912)
Образы Италии. М., 1994, с. 221.

“Прощанье с Римом. Вот рецепт прощанья, старый и испытанный: чтобы вернуться вновь. Ранний ужин и долгая прогулка: последний взгляд с площади Пинчо, от церкви Троицы над Скала Спаньола. С высоты Капитолия — на Форум. Последний стакан белого Фраскати. Когда шум улиц начнет замирать — идите переулками к фонтану Треви. Холодно вокруг него, ниже уровня площади, скамьи из травертина. Его мраморные фигуры вырастают из высокого здания. Ни гармоничнее, ни красивее нет фонтана на земле — даже в том же Риме. Смотрите, как рябит вода в бассейне. Смотрите, на сколько струй и каскадов разбита река, вырывающаяся из извилин мрамора, вспоминайте краткие дни в Риме, мечтайте вернуться. Вздохайте — это здесь так уместно и так естественно. Встаньте, выньте старую приготовленную монету в одно сольдо и закиньте ее в бассейн, подальше, под струи. И трижды, зачерпнув рукой, отпейте лучшей, и чистойшей, и вкуснейшей воды. С чувством и набожностью причастника, с верою, с благословением и внутренней молитвой. Чтобы вернуться вновь! Бог Нептун позаботится об этом. Он будет трезубцем волновать моря и реки, которыми вы плывете, и гнать вашу лодку

к устью Тибра. В гуле улиц, в шуме собраний, в музыку, в пень, в плач — будет отныне вплетаться мелодия падающей воды фонтана Треви. Что в силах человека — вы все сделаете, чтобы вернуться”.

М. А. Осоргин. *Там, где был счастлив* (1923).
Париж, 1928, с. 103-104.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАРА-МУРЗА, родился в 1956 г. в Москве. Доктор философских наук, заведующий отделом социальной и политической философии Института философии Российской Академии наук, профессор политологии МГУ и МГИМО, академик Российской Академии гуманитарных наук. С 1997 г. — старшина Московского Английского клуба. Специалист в области истории русской философской и политической мысли XVIII–XX вв. Главная тема исследований — “Россия и Европа”, история российского западничества и либерального реформаторства в России. Автор десяти монографий (“Реформатор. Русские о Петре I”, “Между Империей и Смутой”, “Новое варварство как проблема российской цивилизации”, “Русские о большевизме”, “Между Евразией и Азией”, “Как возможна Россия?” и др.) и более двухсот научных и публицистических статей. Неоднократно бывал в научных командировках в Италии.

А. А. КАРА-МУРЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ О РИМЕ

Директор издательства ОЛЬГА МОРОЗОВА
Редактор Алла ХЕМЛИН
Корректор Анна ЧЕРНИЙ
Художественное оформление, макет и верстка
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

Подписано в печать.....

Бумага офсетная
Печать офсетная
Формат 84 x 108/32
Гарнитура Greta
Тираж 3000 экз

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ
103001, Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1
e-mail: morozovabooks@yandex.ru

По вопросам закупки книг обращаться:
e-mail: vertra1@yandex.ru

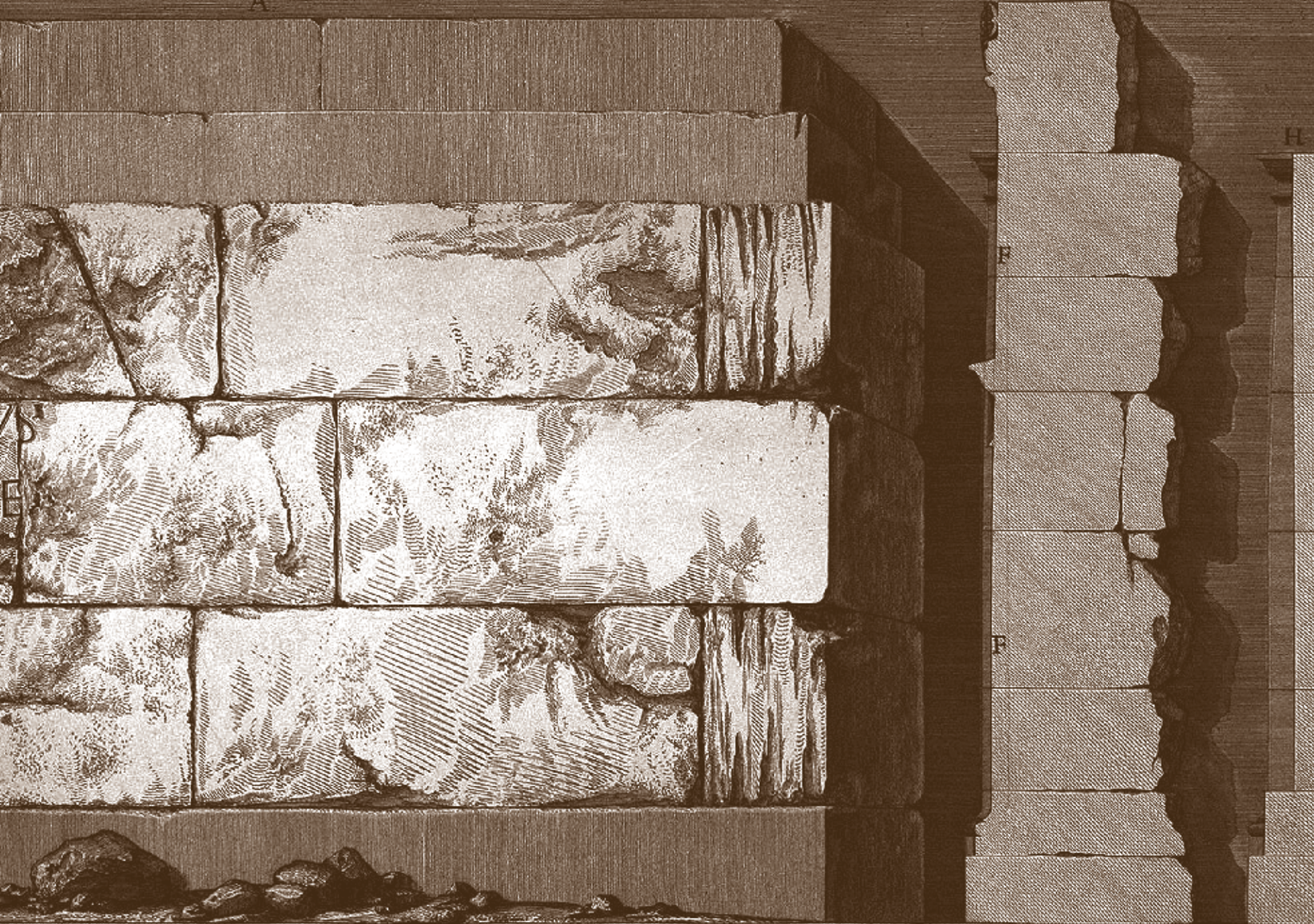
ООО "Книжный Дом Учкнига"
e-mail: dom_evq@omega-L.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в ОАО "Первая образцовая типография",
филиал, "Дом печати-ВЯТКА"

610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122



...zione tale quale si trova al presente, fedelmente copiate la Forma delle Lettere ancora
... quale ciò non fu praticato, e pur tanto il farlo, o non farlo, resta in arbitrio d'ognuno.
... ti verfo, all'ansole, pure non ostante nel diversità, full'Opera vostra insensibile, ed anzi orata
... agli occhi de riguardanti. Offerva



ogni pefierri. C Parte angolare, nella quale si fu vedere uno de' Pilaftri del Sepolcro. Egli si rende osservabile particolarmente per essere fessato da poco più sotto la metà sino al Collarino a modo di Colonna. Il dominare in tal maniera i Pilaftri fu comunemente
 appropria a Pilaftri, (siccome ancora l'altra viede l'altro angolo) da poco più sotto la metà sino all'Architrave avere la medesima declinazione de' Pilaftri a guisa di scarpia: il che meglio apparisce nello Spaccato, E, nel quale si vede la linea superficiale. E
 di più la Belle de' Pilaftri fessato non secondo la regola di Vitruvio, il quale afferma non esserle alle Basi de' Tempi Tolono le parti del fessamento della Colonna: ma alla prima ed ultima non più di un terzo: e per una ragione, l'armonia del volere Architetto.